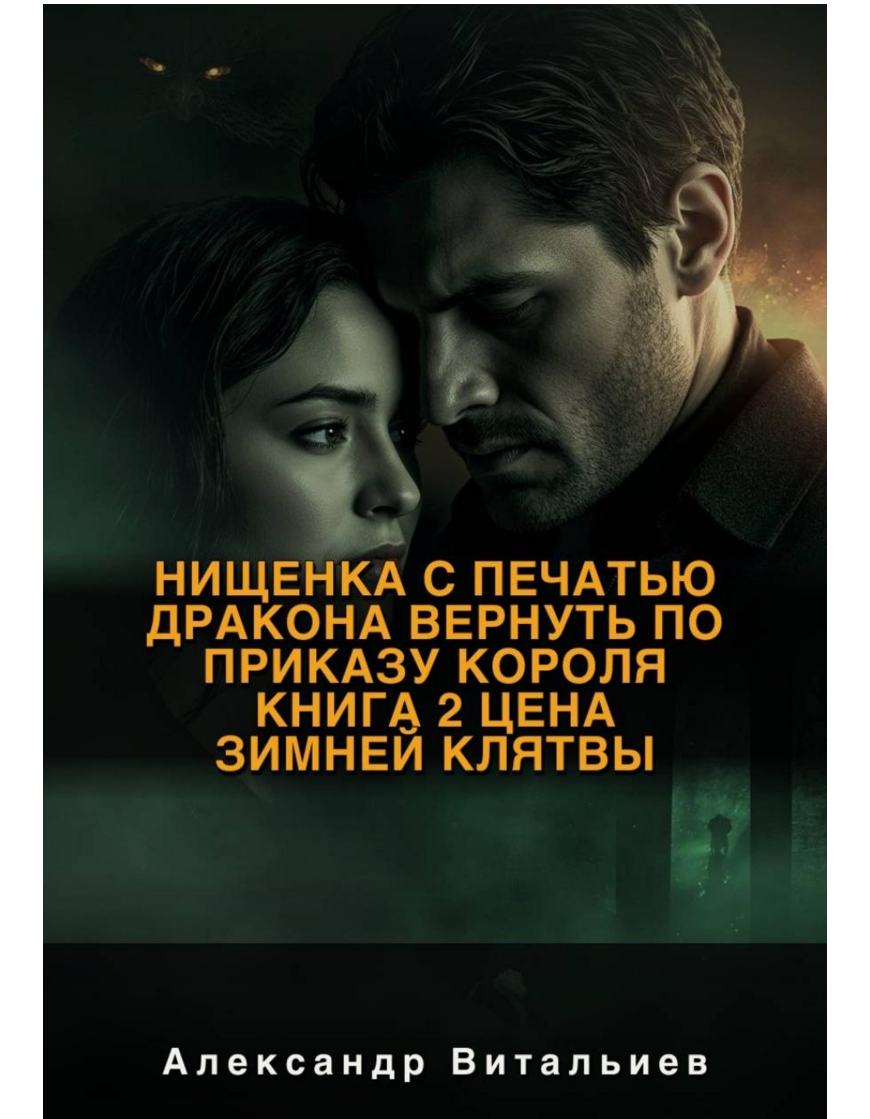




**НИЩЕНКА С ПЕЧАТЮ
ДРАКОНА ВЕРНУТЬ ПО
ПРИКАЗУ КОРОЛЯ
КНИГА 2 ЦЕНА
ЗИМНЕЙ КЛЯТВЫ**

Александр Витальев

Александр Витальев

Нищенка с печатью дракона. Вернуть по приказу короля. Книга 2: Цена зимней клятвы

<https://litres.ru/74073978>

SelfPub; 2026

Аннотация

Прошлая зима дала ей замок, печать и право требовать отчёта у домоправителя, но не дала ни одного тёплого слова от мужа. Теперь королевский суд продлевает зимний цикл ещё на год, и Астрид возвращается в замок не нищенкой, а хозяйкой реестра, спасительницей нижнего города и единственной женщиной, чьё имя дракон-лорд произносит без приказа. Дарвен впервые учится спрашивать, а не приказывать; Инара возвращается из Зимней Ветви с чужим ребёнком под сердцем и тайной, которая стоила Дарвену всего; судья Лисса готовит новый удар через документы и яд; мать Дарвена торгуется за внука, которого не носит Астрид. Бывшая жена, дракон, который не умел просить прощения словами, беременная соперница с чужим секретом, публичная ставка на совете родов и цена, которую платит не тело, а имя. Для читательниц, которые любят, когда сначала возвращают имя,

потом требуют публичного признания, и только потом решают, нужен ли им мужчина живым.

Содержание

Глава 1. Продлённый срок	5
Глава 2. Шрам, который помнит	21
Глава 3. Беременная у порога	37
Глава 4. Совет в чужом плече	55
Глава 5. Реестр на кухне	72
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Александр Витальев Нищенка с печатью дракона. Вернуть по приказу короля. Книга 2: Цена зимней клятвы

Глава 1. Продлённый срок

Камень под босыми ногами был ещё тёплый, и я запомнила это, чтобы потом ненавидеть себя за то, что запомнила.

Ворота стояли открытыми, и это было не к добру. Когда меня выкидывали три года назад, их закрыли за мной на замки, и я ещё долго слышала, как лязгает железо. Сегодня же створки были просто распахнуты, как рот, и за ними тянуло горячим хлебом, и дымом, и чем-то сладким, от чего сводило челюсть.

Я остановилась. Подол чужого чёрного платья, снятого с чужой мёртвой спины, был мне короток и узок, и я чувствовала на себе взгляды стражников, но это были ещё не те взгляды. Те придут позже.

— Астрид, — окликнули меня.

Эрвин, королевский писец, сидел на перевёрнутом ведре у самой калитки. На коленях у него лежал новый пергамент, и сургуч на нём был незнакомый — синий, с королевской лилией, а не с драконьей мордой. Он увидел, что я смотрю, и почему-то отвёл глаза.

— Ты раньше срока, — сказала я.

Он встал. Ноги у него затекли, и он переступил, профессионально разминая пальцы, чтобы не дрожали.

— Снега ещё не было, — повторила я то, что твердила всю ночь, пока шла. — Судья снял срок на первом снеге. Я помню.

— Срок изменён, — ответил он, и голос у него был ровный, и это было хуже крика. — Королевский суд продлил зимний цикл ещё на год. До первой весны, а не до первого снега.

Я не пошевелилась. Где-то за спиной, в нижнем городе, хлопнула ставня, и я слышала, как женщина зовёт дочь, и дочь не отвечала, и это было так обычно, так невыносимо обычно, что я сжала кулак, и ногти впились в ладонь.

— Покажи.

Он развернул пергамент. Я не взяла его в руки. Я не имела права брать документы из рук писца, пока он сам мне их не отдаст, и мы оба это знали. Я прочла наискось, через его плечо, и буквы прыгали.

«...в связи с новыми обстоятельствами дела о возвращении печати рода Северного Огня... продлить срок содержа-

ния носительницы до полного завершения зимнего цикла...
подпись: судья Лисса из Дома Серой Воды...»

Лисса. Его Лисса. Та, что спала в его постели, пока я спала под мостом.

— Где он? — спросила я.

Эрвин не ответил, и это тоже было ответом.

Я вошла. Стражники расступились, и один из них посмотрел на мои босые ноги, и я привычно подобрала подол, и ткань затрещала, и я подумала, что мне нужно платье, и что попрошу его у Марты, и что попрошу у Марты только платье и ничего больше.

Во дворе было пусто. Дрова сложены аккуратно, и дворецкий, которого я не знала, новый, стоял на крыльце, и руки у него были сложены на животе, и он смотрел, как я иду, и я шла медленно, чтобы он видел, что я не тороплюсь, и что мне не страшно.

— Госпожа, — сказал он, и слово «госпожа» далось ему с видимым усилием.

Я остановилась перед ним. Он был выше меня на две головы, и руки у него были красные, и я подумала, что он, наверное, стирает бельё, и что он меня не узнаёт, и что я его тоже не узнаю, и что это, может быть, к лучшему.

— Лорд Дарвен в большом зале, — выдавил он. — Гостья из Зимней Ветви тоже там.

Гостья. Инара. Та, что лежала в моей постели, пока я лежала под мостом.

Я кивнула. Подумала, что нужно умыться, и что не буду. Подумала, что нужно надеть чулки, и что не надену. Пошла к двери, и дворецкий не посторонился, и я протиснулась боком, и ткань на плече треснула, и я почувствовала, как холодный воздух лизнул кожу, и я подумала, что это, наверное, и есть тот стыд, о котором мне говорили, только я его раньше не узнавала.

В коридоре пахло воском и копчёной рыбой, и я знала этот запах, и он бил в переносицу, и я заставила себя дышать ровно. За поворотом слышались голоса — мужской, незнакомый, и женский, тихий, с хрипотцой. Инара. И между ними, молчанием — его дыхание, которое я узнала бы из тысячи.

Я остановилась. Прижала ладонь к стене, и камень был тёплый, и я подумала, что за этой стеной, наверное, дымоход, и что его, наверное, только что топили, и что это, наверное, он и велел истопить.

Эрвин догнал меня. Тихо встал за спиной, и я слышала, как шуршит его перо по бумаге, и я знала, что он записывает всё, и что я ему за это благодарна, и что я ему за это никогда не скажу спасибо.

— Они знают? — спросила я, не оборачиваясь.

— Гостя — да, — ответил он, помолчав. — Лорд — нет.

Я кивнула. Сняла руку со стены, и на ладони остался тёплый след, и я сжала пальцы, и след остался внутри, и я пошла вперёд, к двери в большой зал, и дверь была не заперта, и я подумала, что это, может быть, приглашение, а может быть,

ловушка, и что разницы между ними в этом замке давно уже нет.

Я толкнула дверь и вошла, не дожидаясь, пока мне предложат.

В большом зале было натоплено, и от этого сразу заломило в висках, как бывает, когда слишком долго смотришь в снег. Справа, у дальней стены, стоял длинный стол, накрытый на двоих — тарелки, кубки, графин с чем-то тёмным, и я почувствовала, как у меня сводит челюсть. Слева, у камина, полукругом сидели трое: старик с красными от простуды глазами, женщина с такой тонкой шеей, что казалось, голова держится на нитке, и ещё один, помоложе, с бородавкой на скуле, которая подпрыгивала, когда он жевал. Я не знала их в лицо, но знала по голосу — те самые старейшины, что три года назад голосовали за то, чтобы меня вычеркнуть из родовой книги.

Инара стояла у окна. Она была бледнее, чем я помнила, и под глазами лежали тени, и живот под серым платьем уже начинал округляться, и я невольно задержала на нём взгляд, и она это поймала, и её пальцы легли на ткань, как будто прикрывая.

Дарвен сидел во главе стола. Он не встал. Это было важно — он мог встать, и не встал, и я прочла в этом всё, что он хотел мне сказать, и всё, что он сказать не мог. На нём была та же серая рубашка, что и утром, когда я видела его в окно через дорогу, и я подумала, что он не успел переодеться, или

не захотел, и что оба варианта одинаково дурны.

— Госпожа Астрид, — сказал старик с красными глазами, и слово «госпожа» он произнёс так, будто пробовал на вкус тухлую рыбу. — Мы не ждали вас так рано.

— Я не госпожа, — ответила я, и мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидала. — Я гостья с печатью. На этом и остановимся.

Старейшина переглянулся с женщиной. Бородавка на скуле молодого дёрнулась.

— Гостья, — повторила женщина, и в её голосе было столько яда, что я удивилась, как она ещё стоит. — С чужой печатью на чужом запястье. В чужом платье.

Я посмотрела на своё запястье. Рукав сбился, когда я толкала дверь, и тонкая белая полоска шрама была видна, и по ней, как живая, ползла тонкая красная нитка, и я поняла, что печать проснулась, и что они это видят, и что скрывать её я больше не смогу, даже если захочу.

— Печать возвращена судом, — сказала я. — По закону.

— Закон, — вступил Дарвен, и голос у него был тот самый, низкий, с хрипотцой, от которой у меня когда-то подгибались колени. — Закон продлён. До весны, Астрид. Не до первого снега.

Я медленно повернулась к нему. Он не смотрел на меня — он смотрел на свои руки, на графин, на стол, на всё, кроме меня, и я знала эту его манеру: когда ему стыдно, он прячет глаза, и я когда-то принимала это за равнодушие, и оказалась

дурой.

— Ты знал, — сказала я. Не спросила.

Он наконец поднял взгляд. Серые, почти белые глаза, и в них не было ни злости, ни раскаяния — только усталость, и я подумала, что три года — это много даже для него.

— Узнал вчера, — ответил он. — Лисса прислала с нарочным. Я не успел.

— Не успел — что?

Он не ответил. Старик хмыкнул, и я услышала, как бородавка на скуле молодого стукнула о зуб.

— Не успел предупредить, — закончила я за него. — Конечно. Как всегда.

Инара кашлянула. Тихо, в кулак, и я увидела, как её плечи вздрогнули, и она прижала ладонь к животу, и я подумала, что ей, наверное, тоже холодно, и что её, наверное, тоже не предупредили, и что у нас с ней, оказывается, больше общего, чем мне хотелось бы.

— Лорд, — сказала она, и голос у неё был ровный, но на последнем слове сорвался. — Можно мне присесть? Мне нехорошо.

Дарвен встал. Наконец. Одним движением, как встают мужчины, которые привыкли подчиняться короне, а не жёнам, и я почувствовала, как внутри что-то дёрнулось, старое, привычное, и я привычно это задавила.

Он пододвинул ей стул. Не мне — ей. И стул был тот самый, дубовый, с высокой спинкой, на котором я сидела три

года назад, когда принимала гостей, и я поняла, что он сделал это не нарочно, и что от этого было только хуже.

— Садись, — бросил он мне через стол. — И послушай.

Я не села. Я подошла к графину, налила себе в его кубок, потому что тарелки были только на двоих, и выпила, не спрашивая. Вино было кислое, и от него защипало в носу, и я подумала, что, наверное, дешёвое, и что для меня он дешёвого не жалеет.

— Я слушаю, — сказала я, вытирая губы тыльной стороной ладони. — Говори.

Старейшина с красными глазами откашлялся.

— Совет Домов соберётся в середине зимы, — начал он. — До тех пор вы остаётесь в замке. На правах... гостей.

— Гости, — поправила я. — Не гостей.

Женщина с тонкой шеей фыркнула.

— Гости, — согласился старик. — С печатью. Это даёт вам право входить в зал суда, требовать отчёт у домоправителя и вызывать свидетелей. Это не даёт вам права вмешиваться в дела рода.

— Я знаю, что мне даёт печать, — ответила я. — Я три года читала законы под мостом, пока вы тут пили кислое вино.

Тишина ударила по ушам. Бородавка на скуле молодого застыла, и он перестал жевать.

Дарвен смотрел на меня, и я впервые за утро поймала его взгляд, и в нём было что-то, чего я раньше не видела — не страх, не злость, а какая-то тяжёлая, серая усталость, и я по-

думала, что, может быть, он тоже не спал, и что, может быть, за этой стеной, в его покоях, тоже топили печь, и что, может быть, не зря.

— Эрвин, — позвала я, не оборачиваясь.

Писец шагнул вперёд из-за двери, где он, оказывается, стоял всё это время, и я услышала, как зашуршало его перо.

— Запиши, — сказала я. — Гостя с печатью Астрид из рода Северного Огня требует у старейшин отчёт о расходах замковой кухни за три года. Право требовать — по закону о зимнем цикле, статья четвёртая, параграф о содержании носительницы.

Старик поперхнулся. Женщина вскочила, и тонкая шея её натянулась, как струна.

— Вы не смеее, — прошипела она.

— Я смею, — ответила я. — Я три года молчала. Теперь я хочу знать, на что ушли мои деньги.

Дарвен медленно опустился обратно на стул. Я видела, как побелели костяшки его пальцев на подлокотнике, и я подумала, что он, наверное, сейчас скажет «уйди», или «довольно», или «Астрид», и я заранее знала, какое из этих слов ранит меня сильнее, и я была к этому готова, и от этой готовности мне стало так тошно, что я едва устояла.

Он ничего не сказал. Только посмотрел на Инару, и Инара опустила глаза, и её пальцы снова легли на живот, и я подумала, что она, наверное, тоже считает, сколько стоит молчание в этом замке, и что у неё, наверное, счёт другой.

Я допила вино. Поставила кубок на стол — не на поднос, а прямо на дерево, и оно глухо стукнуло, и эхо пошло по залу, и я развернулась, и пошла к двери, и дверь была всё ещё не заперта, и за ней стоял Эрвин с пером в руке, и я прошла мимо него, и он записал и это тоже, и я знала, что запишет.

Я не успела сделать и пяти шагов по коридору, когда за спиной скрипнул стул.

— Астрид.

Голос был низкий, тот самый, с хрипотцой на согласных, и я почувствовала, как шрам под рукавом дёрнулся, будто кто-то провёл по нему холодным ногтем. Я остановилась. Не обернулась. Потому что если обернусь, он увидит, что у меня дрогнуло веко, а я этого не хотела, и не хотела, чтобы он знал, чего я не хочу.

— Что? — бросила я через плечо.

Шаги. Тяжёлые, неровные, и я слышала, как он идёт не прямо, а чуть в сторону, будто обходит стол, будто обходит Инару, будто обходит что-то ещё, и я считала шаги, потому что считать шаги проще, чем думать.

Он остановился в двух шагах за моей спиной. Я почувствовала это расстояние кожей — между лопатками стало теплее, и я знала эту его манеру стоять слишком близко для чужого и слишком далеко для бывшего мужа.

— Печать, — сказал он тихо. — Она ожила.

— Я знаю, — ответила я. — Я её ношу.

— Она горит. У меня.

Я медленно повернулась. Он стоял, и его правая рука висела вдоль тела, и пальцы её были разжаты, и я увидела на тыльной стороне ладони, у основания большого пальца, тонкую красную полосу, которой вчера не было, и она пульсировала в том же ритме, что и мой шрам, и я поняла, что это значит, и от этого понимания у меня пересохло во рту.

— Закон крови, — сказала я. — Если носителнице плохо, владельцу тоже. Я три года это забывала. А ты, выходит, нет.

Он сжал руку в кулак. Красная полоса ушла под кожу, и он поморщился, и я поймала себя на том, что делаю шаг к нему, и остановила себя, и этот шаг, который я не сделала, был громче любого слова.

— Ты не ела сегодня, — сказал он. Это прозвучало как обвинение.

— А ты? — спросила я, и тут же пожалела, потому что это прозвучало как забота, а забота была не тем, что я могла ему позволить.

Он не ответил. Только посмотрел на моё запястье, на сбившийся рукав, на тонкую красную нитку, которая ползла по шраму, и я вдруг поняла, что он никогда раньше не видел, как она оживает, потому что три года назад я её прятала, а три года под мостом её некому было видеть.

— Тебе нужна еда, — повторил он. — И отдельная комната.

— Комната у кухни, — сказала я. — Мне уже сказали.

— Это не подходит.

— Подходит. Мне. Не тебе.

Он поднял взгляд. Серые глаза, усталые, с красными прожилками, и в них было что-то, чего я не хотела видеть, и я отвела свои, и это было ошибкой, потому что он принял это за слабость и шагнул ближе, и я почувствовала запах его плаща — дым, холод, его кожа, — и у меня свело горло.

— Астрид, — сказал он, и голос у него сел, и это было его первое имя за три года, и я поняла, что он тоже его услышал, и что ему от этого не легче.

— Лорд Дарвен, — поправила я. — Если вы закончили, я пойду.

Он не отступил. Его тень легла на мои башмаки, и я смотрела на эту тень и думала, что три года назад я бы подняла руку и сама коснулась его щеки, и сейчас я не могла поднять руку, потому что она бы его коснулась, а я этого не хотела, и не хотела, чтобы он знал, чего я не хочу.

— Мне принести суп? — спросил он, и это прозвучало так жалко, что мне стало его жалко, и от жалости я едва не согласилась, и согласия он прочесть не мог, и я видела, как он пытается.

— Пришлите Марту, — сказала я. — И печь пусть истопят. В комнате холодно.

Я развернулась и пошла. На середине коридора я остановилась, потому что ноги перестали меня держать, и я прислонилась плечом к стене, и стена была тёплая, и я вспомни-

ла, что где-то за ней его покои, и отдёргнула плечо, и пошла дальше, и спина горела, и я знала, что он смотрит мне вслед, и не обернулась.

Коридор за моей спиной долго оставался тихим, и от этой тишины мне стало хуже, чем от его шагов. Я добралась до своей двери, толкнула её плечом и вошла, и комната встретила меня холодом и запахом чужой мебели, и я поняла, что забыла, как пахнет замок изнутри, когда ты в нём гостя, а не хозяйка. Печь была нетоплена. Свеча на столе оплыла до самого основания, и фитиль тонул в своём же воске, и я не стала его поправлять, потому что в темноте легче не видеть стену, за которой, я знала, он сейчас стоит.

Я села на кровать прямо в чужом платье, не снимая башмаков, и поднесла левое запястье к глазам. Шрам горел ровно, тем же ритмом, что и красная полоса на его руке, и я прижала ладонь к груди и почувствовала под ней второй удар — его, глухой, упрямый, и от этого у меня защемило в носу, и я зло сжала зубы, и зубы скрипнули в тишине, и я услышала, как за стеной кто-то прошёл, и шаги были неровные, и я подумала, что он, наверное, тоже считает шаги и сбивается, и от этой мысли мне стало так тошно, что я встала и подошла к двери, и дверь была заперта только с моей стороны, и это было правильно, и этого было мало.

Стук раздался через несколько минут. Тихий, два раза, и я узнала эту манеру — Марта стучала так же, как три года назад, когда приходила сказать, что ужин подан, и я спросила

«кто», хотя знала, и она ответила «к Марте ключница, госпожа», и я открыла, и в руках у неё была миска, и от миски пахло так, что у меня свело желудок, потому что я не ела с утра, а с утра было уже два дня.

За Мартой стоял слуга с вязанкой дров. Марта посмотрела на меня, потом на нетопленную печь, потом снова на меня, и ничего не сказала, и это молчание было за меня красноречивее любого вопроса.

— Лорд приказал? — спросила я, и голос у меня вышел ровнее, чем я ожидала.

— Лорд приказал, — кивнула Марта. — И ещё передал вот это.

Она достала из-за спины сложенный плащ. Тот самый, его, серый, с чёрной оторочкой, и я узнала его по шву на плече, который я зашивала сама, ещё там, в прошлой жизни, когда считала, что у нас есть общее будущее, и от этого я взяла плащ осторожно, как берут чужую улику.

— Он сказал — истопить печь, — добавила Марта тихо. — И ещё сказал, что если госпожа будет мерзнуть, то это последнее, что он вам пришлёт, а не первое.

Я переложила плащ на кровать. Миску поставила на табурет. Печь слуга уже разжигал, и от первого огня по комнате пошёл треск, и я стояла и смотрела, как разгораются дрова, и думала, что это его огонь, в моей печке, и что я не просила, и что отказываться уже поздно, и что поздно — это вообще про нас.

— Марта, — позвала я, когда слуга вышел.

— Да, госпожа.

— Где сейчас гостя из Зимней Ветви?

Марта опустила глаза. Я увидела, как её сухие пальцы перебрали край передника, и это был её единственный знак, что она не хочет отвечать, и я всё равно ждала, и она это знала.

— В западной спальне, — сказала она наконец. — На втором этаже. Лорд приказал ей не выходить до утра.

— Он запер её?

— Нет. Он попросил. Она согласилась.

Я кивнула. Подошла к столу и взяла миску. Суп был горячий, жирный, с морковью, и я знала этот рецепт, потому что три года назад его готовила сама, и от этого знания у меня дрогнула рука, и ложка стукнула о край миски, и Марта сделала вид, что не заметила.

— Спасибо, — сказала я. — Можешь идти.

Марта не ушла. Она стояла в дверях, и я подняла голову, и она смотрела на моё запястье, на шрам, и впервые за весь вечер я увидела на её лице что-то, кроме привычной осторожности, и это было узнавание, и я поняла, что она знала про шрам и раньше, и что это она его видела первым, там, у ворот, и что именно она тогда позвала Эрвина, и что она, может быть, единственная в этом замке, кто рад, что я вернулась, и от этой мысли у меня защемило в носу, и я опустила голову обратно к миске, и Марта вышла, и дверь за ней

закрылась, и я осталась одна, и шрам на запястье пульсировал в такт его шагам за стеной, и я считала эти шаги, и сбивалась, и снова считала.

Глава 2. Шрам, который помнит

Ворота были открыты настежь, и от этого было хуже, чем если бы они были закрыты. Закрытые ворота можно было бы считать отказом, открытые — это приглашение, а я никогда не любила, когда меня приглашали туда, откуда меня вышвырнули.

У ворот стоял Эрвин. Не Дарвен, не Марта, не домоправитель — писец с пером за ухом и со свитком в руках, на котором красовалась свежая королевская печать. Я остановилась в трёх шагах от него и не поздоровалась. Он тоже не поздоровался. Мы смотрели друг на друга как люди, которые видят друг друга не в первый раз и оба жалеют, что не в последний.

— Цикл продлён, — сказал он наконец. — Год. По указу суда. Подпись — Лисса из Дома Серой Воды, проверяющая исполнение.

Я взяла свиток. Сургуч был горячий, словно его только что сняли с огня, и когда мои пальцы легли на печать, шрам под рукавом дёрнулся. Не больно, не сильно — так, как дёргается старый нерв, который помнит больше, чем хочет его хозяин.

— Год, — повторила я.

— Год, — подтвердил Эрвин. — Теперь счёт до первой весны, а не до первого снега. Разорвать можно тремя путя-

ми. Добровольный отказ носительницы, публичный суд Совета Домов или признание рода, что печать была украдена. Третий путь, — он посмотрел на меня очень внимательно, — уничтожает лорда Дарвена как лорда. Поэтому он сегодня дома.

Я кивнула и пошла к дверям. Чёрное платье, которое мне одолжили в нижнем городе, сидело так, будто его шили на кого-то другого и я в него влезла на спор. Подол волочился по камню, на груди ткань натянулась, на лопатках провисла, и я знала, что каждый, кто посмотрит, увидит, как плохо мне здесь быть. Мне было всё равно.

Домоправитель встретил меня в нижнем коридоре. Он стоял там, где три года назад не соизволил встретить меня вовсе, и смотрел на меня так, словно я была незваной родственницей, которая вернулась на похороны.

— Гостя с печатью, — сказал он. — Комната у кухни. Спального белья два комплекта, на окне ставни на ночь, в кухню — только через заднюю дверь.

— Ключ, — сказала я.

Он моргнул.

— Ключ от комнаты. И от ставни. И от кухонного архива.

— Кухонного архива, — повторил он, и я видела, как у него шевельнулись желваки. — У гостей нет ключа от архива.

— У гостей нет, — согласилась я. — У хранительницы печати на время зимнего цикла — есть. Я могу вызвать Эр-

вина и попросить его прочитать вам параграф.

Он смотрел на меня долго. Потом полез в карман, достал связку, снял с неё два ключа и положил на поднос. Ключи были медные, старые, с клеймом рода Северного Огня — тот самый дракон, свернувшийся в кольцо, которого я когда-то носила на поясе и который сняла с меня судья Лисса, когда объявляла развод.

Я взяла ключи. Они были тёплые. Я могла бы поклясться, что они были тёплые не от его руки.

За моей спиной слышались шаги — тяжёлые, неровные, как у человека, который идёт и считает шаги и сбивается. Я не обернулась. Я знала, чьи это шаги. Я знала это не по звуку, а по тому, как ключи в моей руке стали горячее, и по тому, как шрам под рукавом натянулся, и по тому, как Эрвин за моей спиной вдруг перестал дышать.

— Астрид, — сказал он.

Я обернулась. Он стоял в конце коридора, в своём тёмном кафтане, без плаща, с неспавшимся лицом, и руки у него были пустые, и это было хуже всего, потому что руки у него всегда были заняты — перчаткой, поводком, свитком, клинком, — а сейчас они висели вдоль тела, как у человека, который забыл, зачем шёл.

— Лорд Дарвен, — сказала я.

Он дёрнулся. Едва заметно, но я увидела. Я увидела, как он сглотнул, и как дёрнулся кадык, и как у него на скулах проступили желваки, и как он посмотрел не на меня, а на

мои руки, на ключи, которые я держала, и как у него на запястье — на том же, что и у меня, — под манжетой что-то шевельнулось.

— Ключи, — сказал он.

— Ключи, — согласилась я. — Мои.

Я повернулась и пошла по коридору. Мимо него. На полшага. Я чувствовала его тепло через этот полшага, и его дыхание, и запах его одежды — тот самый, который я не смогла забыть за три года и ненавидела себя за это каждое утро под мостом. Он не двинулся мне навстречу. Он не двинулся мне наперерез. Он просто стоял, и я шла, и в какой-то момент наши рукава — мой чёрный, чужой, и его тёмный, родовой — почти соприкоснулись.

Я дошла до поворота и остановилась. Не обернулась. Положила ладонь на стену, там, где камень был тёплый, и почувствовала, как под моей ладонью, под кожей, под шрамом, под клеймом дракона, медленно просыпается что-то, что я три года считала мёртвым.

За моей спиной было тихо. Ни шагов, ни дыхания, ни голоса. Только тёплый камень под ладонью и ключи в кулаке, и где-то в конце коридора — человек, который стоял и смотрел мне вслед, и я знала это, и он знал, что я знаю, и это было первое, что между нами за три года было сказано вслух.

Коридор за поворотом был пуст, и это тоже было хуже, чем если бы в нём кто-то стоял. Слух по замку бежал быстрее любого посланного, и к тому времени, когда я добралась

до кухни, обо мне уже знала каждая прислуга, каждый конюх, каждая прачка у колодца, и каждый знал ровно столько, сколько было нужно, чтобы смотреть на меня так, словно я вернулась с того света и ещё не решила, стоит ли оставаться.

Кухня пахла капустой и дымом. Котлы стояли на месте, и стол, за которым я когда-то резала хлеб для двадцати человек, тоже стоял на месте, только теперь за ним сидел Тобин, и перед ним лежала миска, и он ел так, будто не ел три дня, и я поняла, что он, наверное, действительно не ел три дня.

— Гостья с печатью, — сказал он, не поднимая головы. — Слышал уже. Ключ от архива получила. Слышал тоже.

Я остановилась в дверях и посмотрела на него. Он был худее, чем под мостом, и грязнее, и глаза у него были красные — то ли от ветра, то ли от того, что он три ночи подряд пил дешёвое пиво и ждал, пока ему заплатят за печать. Он не поднимал головы. Он знал, что я смотрю, и он не хотел, чтобы я видела его лицо, и это было, пожалуй, единственное честное, что он сделал за последние сутки.

— Получила, — сказала я. — И ключ от ставни. И от комнаты.

— Угу.

— И право входить в совет, — добавила я. — И право вызывать свидетелей. И право блокировать любую сделку лорда без моей подписи.

Он перестал жевать. Поднял голову. Посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который только что сказал

вслух то, что оба думали, и от этого стало страшно обоим.

— Это что ж выходит, — сказал он медленно, — ты теперь при замке?

— Я при печати, — ответила я. — Печать при замке. Замок при лорде. Лорд при мне, пока я не захочу иначе.

Тобин отложил ложку. Посмотрел на миску, на меня, на дверь, за которой только что скрипнула половица, и я поняла, что он считает, кто мог подслушивать, и я поняла, что он считает правильно.

— Заплати, — сказал он тихо. — За возврат. Мы же договаривались.

— Мы договаривались, что ты вернёшь печать через суд, — сказала я. — Ты вернул. Суд состоялся. Цикл продлён. Плата — не мне. Плата — короне. Если хочешь получить место при кухне, иди к лорду и проси. Только сначала подумай, что ты ему скажешь, когда он спросит, почему ты продал мне мою же печать за серебро, которое ты пропил вчера.

Он побелел. Не покраснел — побелел, так, что даже губы стали серыми, и я впервые за два дня подумала, что Тобин, может быть, не так прост, как притворяется, и что его страх передо мной — это не страх нищего перед бывшей хозяйкой, а страх человека, который знает, что его поймали не на одном, а на двух концах.

Я подошла к столу, положила ключ от архива на край миски и пошла к чёрному ходу. У двери меня догнал голос — не Тобина, другой, тихий, с трещиной.

— Астрид.

Я обернулась. В дверях кухни стояла женщина. Незнакомая. Нет — знакомая. Беременная, с руками на животе, в дорогом, но помятом платье, с лицом, на котором было написано всё сразу: усталость, страх, злость и что-то ещё, чему я не знала названия, потому что я никогда не видела этого выражения на лице женщины, которая пришла в мой дом.

— Инара, — сказала я.

— Из Зимней Ветви, — поправила она, и голос у неё дрогнул. — Гостья. Лорд Дарвен обещал...

— Лорд Дарвен, — сказала я, — может обещать что угодно. Комната у кухни — моя. Ключ — мой. Право входа — моё. Ребёнок — не мой. А в остальном, — я посмотрела ей в глаза, и она отвела взгляд первой, — добро пожаловать в дом, где вас ждут меньше, чем вы думаете.

Я вышла. За моей спиной Инара заплакала — тихо, как плачут женщины, которые давно разучились плакать вслух. Я не обернулась. Я дошла до своей комнаты, открыла замок, вошла, закрыла дверь и повернула ключ. За стеной слышались шаги — те самые, неровные, и я села на кровать, и положила ладонь на тёплый камень, и печать под рукавом отозвалась, и я впервые подумала, что, может быть, вернулась не зря.

Шаги за стеной не прекращались. Тяжёлые, неровные, с остановками — будто человек считал до десяти и сбивался. Я знала этот ритм. Я знала его раньше, когда мы жили в од-

ной спальне и я просыпалась от того, как он встаёт среди ночи и ходит вдоль окна, и не могу уснуть, и не хочу говорить почему. Теперь между нами была стена, и дверь с моим замком, и ключ у меня в кулаке, и это должно было означать, что всё кончено. Шаги не кончились.

Я встала с кровати, подошла к стене и положила ладонь на камень. Он был тёплый. Не от печи — печь в моей комнате ещё не топили. Тёплый оттуда, с его стороны. Под моей ладонью шрам на запястье дёрнулся, как живой, и я почувствовала, как под кожей медленно прокатывается что-то горячее, как будто кто-то провёл по старому ожогу кончиком ножа, не рая, а напоминая. Печать рода Северного Огня. Моя. Его. Наша — как шрам, который нельзя разделить ножом, можно только признать.

За стеной скрипнула половица ближе к двери. Потом — тишина. Потом — голос, негромкий, не мне, кому-то в коридоре, может Марте, может мальчишке-посыльному.

— Печь в её комнате не топили?

— Нет, лорд.

— Почему.

— Домоправитель сказал — дров мало, и гостя не просила.

Молчание. Я слышала, как он выдохнул — не через нос, а ртом, как человек, который учится не повышать голос. Потом снова его голос, ровный, с той самой трещиной на последнем слове, которую он никогда не замечал, а я замечала

всегда.

— Принесите дрова. И растопите. Сейчас.

Шаги за стеной отошли к двери. Я убрала ладонь с камня и села обратно на кровать, и плащ — его, тёмный, с гербом, который он снял с плеч при мне на пороге — лежал рядом, на моём плече, и пах дымом и холодом, и я ненавидела себя за то, как точно я его узнала. За дверью слышались шаги уже чужие, торопливые, и через минуту кто-то деликатно постучал.

— Гостя, — сказал голос Марты. — Дрова принесла. Можно?

— Можно.

Она вошла, неся в охапке поленья — старые, берёзовые, пахнувшие так, как пахнет дом, в котором живут дети. Я невольно отступила. Марта была маленькая, седая, с ключами на поясе, и она не смотрела на меня, а смотрела на моё запястье, на то место, где под чёрным чужим рукавом что-то шевельнулось, и я видела, что она это видела, и что она ничего не скажет, и что она всё запомнит.

Она растопила печь в четыре движения — ловко, как человек, который делал это тысячу раз. Огонь занялся сразу. Камень под моей ладонью стал теплее. Марта встала, отряхнула руки и посмотрела на меня.

— Лорд приказал.

— Слышала.

— Он так и не ложился, — сказала она, и в голосе у неё

было то, чего я не ожидала. Не сочувствие. Усталость. Усталость женщины, которая служит в этом доме тридцать лет и знает, что хозяин не спит, когда не спит его совесть.

— Я тоже, — сказала я.

Она кивнула и ушла. Я закрыла дверь, повернула ключ и подошла к печке. Села на корточки и подставила ладони. Тепло шло снизу, от огня, и от стены, и от камня под рукой, и я впервые за три дня почувствовала, что у меня есть место, в котором можно сидеть, и что это место — моё. Что его мне вернул не он. Что его мне вернул суд. Что разница между этими двумя вещами — это и есть цена, которую он теперь будет платить, хочет он того или нет.

Шаги за стеной вернулись. На этот раз они не останавливались. Они ходили ровно, как будто человек наконец перестал считать и просто ходил, просто был в той же ночи, что и я, и между нами был только камень, и замок, и печать, которая под рукавом тёплой монетой лежала на моём запястье и ждала. Я сняла ботинок, второй поставила рядом и легла, не раздеваясь, прямо на одеяло. Плащ положила под голову. Запах его дыма был последним, что я вдохнула, и я подумала, что утром верну его, и что он знает, что я верну, и что мы оба будем делать вид, что это ничего не значит, и что это значит всё.

Утро пришло рано, с тем серым светом, который в замке ложится на камень прежде, чем ложится на снег. Я проснулась от того, что за стеной стало тихо. Шаги кончились. Ни

шагов, ни дыхания, ни скрипа половицы — ничего, и эта тишина была хуже, чем шаги, потому что она означала, что он либо ушёл, либо стоит у стены и не двигается, и я не знала, что из этого хуже.

Я встала, умылась ледяной водой из кувшина, натянула чужое чёрное платье — то самое, в котором вошла, с чужого плеча, тесное под мышками — и подошла к двери. Плащ лежал на кровати, сложенный, как я сложила его ночью. Я взяла его, встряхнула, накинула на плечи. Ткань пахла дымом, холодом и чем-то ещё, чему я отказывалась давать имя. Замок на двери щёлкнул, ключ я положила в карман, и вышла в коридор.

Он стоял у своей двери. Не у моей — у своей, через три шага по камню, в той самой рубашке, в которой был ночью, без плаща, с волосами, упавшими на лоб, и с лицом человека, который не спал. В руке у него был кубок, и от него пахло не вином, а горячей водой с каплей чего-то горького — я узнала этот запах, им перебивают бессонницу слуги в каменоломнях, и Дарвен никогда раньше не пил эту дрянь, а теперь пил, и я подумала, что три года — это достаточный срок, чтобы научиться пить то, что раньше вылил бы в камин.

Он увидел меня. Я увидела его. Между нами было три шага камня и три года молчания. Плащ на моих плечах был его. Рубашка на его плечах была его. Печать под моим рукавом была наша, и она дёрнулась, как живая, в тот момент, когда

он сделал вдох, и я почувствовала, как горячее кольцо под кожей сжалось, и поняла, что он это тоже почувствовал, потому что его пальцы на кубке побелели.

— Плащ, — сказала я и не двинулась с места.

Он смотрел на меня. Не на плащ — на меня, на лицо, на руки, на то место, где под чёрным чужим рукавом жила его печать, и я видела, как его взгляд задержался там, и как он сглотнул, и как его горло дёрнулось, и я впервые подумала, что он не знает, куда деть руки, и что это новое, потому что раньше он всегда знал.

— Оставь, — сказал он.

Я не шевельнулась.

— Я верну, — сказала я.

— Я сказал — оставь.

Это был его голос, приказной, тот, которым он раньше приказывал, и я ждала, что он сам услышит, что голос провалился, что последнее слово ушло вниз, в просьбу, и он услышал, я видела по тому, как он отвёл глаза и поднёс кубок ко рту, и руки у него дрожали. Я стояла и смотрела, как он пьёт, и плащ грел мне плечи, и я не отдала его, и он не повторил, и между нами в коридоре повисло то молчание, которое бывает между людьми, которые раньше были одним целым, а теперь не знают, как быть двумя.

— Инара приехала, — сказал он, не глядя на меня. — Вчера вечером. Из Зимней Ветви. Она беременна, и она в твоей прежней спальне, и я не успел её переселить, и я...

Он остановился. Я видела, как он ищет слово, и не находит, и не придумывает, и это было страшнее, чем всё, что он мог бы сказать.

— Я знаю, — сказала я. — Я её видела. В кухне.

Я доела кашу, вытерла миску пальцем и поставила её на край стола. Бринн тут же её схватил, и я увидела, как у него дрогнули пальцы — не от тяжести, от моего взгляда. Он смотрел на рукав, на то место, где под чёрной тканью тёплой монетой лежала печать, и я знала, что к обеду он разнесёт по нижней кухне, что печать живая, что она отзывается на лорда, и что это, может быть, самая важная новость за эту зиму.

Домоправитель появился, когда я уже встала из-за стола. Его шаги я узнала по скрипу в колене — он всегда хромал на правую ногу после той истории на охоте, о которой в замке не говорили вслух, но которую помнили все. Он вошёл в кухню не как хозяин — как человек, который получил приказ и не знает, как его выполнить, и я впервые подумала, что он, может быть, не злой, а просто устал, и что это разные вещи.

— Госпожа, — сказал он и осекся, потому что слово «госпожа» ко мне больше не подходило, а «гостья» он сказать не мог, потому что гость не требует отчёта, а я теперь могла. Я видела, как он перебрал в голове все варианты и не нашёл ни одного.

— Лорд Дарвен велел передать, — поправил он себя, и голос у него выровнялся, — что вам будет отведена комната у кухни. Лишней спальни в замке нет. Комната рядом с его

покоюми, через стену. Отдельно, — добавил он и посмотрел мне в глаза, и я поняла, что это слово он добавил не для меня, а для себя, чтобы я видела, что он помнит, что такое «отдельно», и что когда-то это слово значило в этом доме другое.

— Проводите, — сказала я.

Он повёл меня по коридору, который я когда-то знала наизусть, и каждую плиту под ногами, и каждое окно, и каждый крюк для факела, и я шла за ним и не узнавала замок, и он был тем же, и я была другой. Он открыл дверь, и я увидела кровать, и печку, и таз с водой, и стул, и платяной шкаф, и окно в стене, за которым был виден кусок двора и кусок неба, и я поняла, что это та самая комната, в которой я когда-то не захотела жить, потому что она была слишком маленькая для хозяйки, а теперь стала достаточно большой для нищенки с печатью.

— Замок на двери, — сказала я, и это было не просьба, и домоправитель услышал, потому что посмотрел на меня так, как смотрят на человека, у которого в руке оказался нож, а он только что повернулся к этому человеку спиной.

— Это не в обычае, — сказал он осторожно.

— Теперь в обычае, — ответила я. — Печать даёт мне право входить и выходить одной. Замок будет на моей стороне двери. Не на обеих. Я его получу сегодня, иначе я завтра приду к писцу Эрвину и попрошу внести в реестр запись о том, что лорд Северного Огня отказал носительнице печат-

ти в праве на отдельный вход. Это будет стоить ему голоса в Совете Домов, и вы это знаете лучше меня.

Он молчал. Я видела, как он считает — не деньги, не дни, а потери: чей голос в Совете, чей ужин, чей сон, чей замок, чья дверь. Потом кивнул и вышел, и через час мне принесли ключ — маленький, медный, с клеймом рода, который я когда-то носила на поясе, а потом потеряла, и который вернулся ко мне через три года, через суд, через чужое решение. Я взяла его в руку, и металл был тёплый, и я подумала, что его, наверное, держали в руках десятки раз до меня, и что это, может быть, и есть та самая цена, которую он теперь будет платить, — не золотом, не кровью, а теплом чужих рук на моей коже.

Ключ лёг в карман плаща. Плащ был его. Ключ был мой. Я подошла к стене, положила на неё ладонь и почувствовала — нет, не тепло, а отсутствие холода, и это было разные вещи, и я впервые за три дня поняла, что нахожусь в доме, который обязан меня содержать, и что это не милость, и не приказ, и не прощение, а закон, и что закон, в отличие от мужчины за стеной, не умеет срываться на полуслове, и что это, может быть, единственное, на что я сегодня могу положиться.

— Она ничего не получит, — сказал он, и это было уже не про спальню, и мы оба это знали.

Я развернулась и пошла к лестнице. На середине коридора я остановилась, потому что ноги перестали меня держать, и я прислонилась к стене плечом, и плащ съехал, и я поправила

его, и за моей спиной было тихо, и я знала, что он стоит и смотрит, и что он не подойдёт, и что я не обернусь, и что это первый раз за три года, когда мы оба молчим о том, о чём нужно сказать вслух.

Я пошла дальше. В кухне пахло капустой и дымом, и Бринн, мальчишка-посыльный, покраснел и поставил передо мной миску, не глядя в глаза, и я поняла, что слух уже дошёл до нижнего города, и что к обеду он дойдёт до рынка, и что к вечеру весь город будет знать, что бывшая жена вернулась, и что лорд отдал ей свой плащ, и что гостья из Зимней Ветви стоит в коридоре с руками на животе, и что печать под рукавом ожила, и что лорд не спал всю ночь, и что это, может быть, начало, а может быть — конец.

Глава 3. Беременная у порога

Шаги в коридоре были чужие. Не тяжёлые, как у Тобины, не ровные, как у Марты, — осторожные, с паузами на каждой половине, будто человек привык к тишине и теперь не знал, можно ли её нарушать. Я стояла у двери своей комнаты, той, что через стену от его покоев, и слушала, как этот звук приближается, и думала: если это Марта с ключами, я спрошу про замок; если Бринн с запиской — выброшу не читая; если Дарвен — я не открою.

Это была не Марта. Из-за поворота вышла Инара.

Она была бледнее, чем я помнила. Волосы убраны небрежно, плащ наброшен на плечи, под плащом — дорожное платье из тонкой шерсти, и под этим платьем, если приглядеться, был уже виден живот. Не большой. Только намёк, что там что-то есть, и что это что-то скоро будет здесь, и что весь замок уже об этом знает, кроме меня, потому что мне не положено знать первой.

Она остановилась в трёх шагах. Не поздоровалась. Не посмотрела на дверь за моей спиной, хотя именно туда она шла, я это видела по тому, как её взгляд скользнул по ручке и отёрнулся.

— Я думала, ты ещё в городе, — сказала она. Голос у неё был тихий, ровный, но в самом конце «городе» что-то дрогнуло. Не слово — воздух вокруг слова.

Я не ответила сразу. Мне нужно было время, чтобы пересчитать её лицо и убедиться, что я не придумываю то, что вижу. Под глазами у неё лежали тени, которых не было зимой, когда мы стояли по разные стороны камина в его кабинете. Тогда она улыбалась мне в лицо, и я улыбалась в ответ, и обе знали, что это не улыбка. Сейчас улыбки не было. Была усталость и что-то похожее на страх, только страх был не за неё — за того, кто под сердцем.

— Тебя не ждали так рано, — сказала я. Это было правдой. Мне сказали в кухне, что до вечера она не вернётся, а значит, она приехала раньше, и кто-то её привёз, и кто-то её встретил, и кто-то провёл мимо стражи, не задержав.

Она опустила глаза. Пальцы у неё сжались на отвороте плаща, и я заметила, что на безымянном нет кольца. Того кольца, которое ей обещали. Которое обещали мне, когда я ещё верила, что обещания что-то значат.

— Мне нужно было вернуться, — сказала она. — Здесь мой дом.

Мой дом. Коридор был узкий, каменный, пахнувший сыростью и старым деревом, и этот дом был когда-то моим, и его спальня была моей, и его кровать была моей, и его ребёнок должен был быть моим, и ничего из этого не случилось. Она сказала «мой дом» так, будто проверяла, как это звучит вслух, и звучало это так, что я поверила: она тоже не верит.

— Там, — сказала я и кивнула на дверь за моей спиной. — Твоя комната. Та же, что зимой. Никто её не занял.

Она вздрогнула. Не от слов — от того, что я это сказала спокойно. Она ждала другого. Она ждала, что я вцеплюсь в ручку, или загорожу дверь, или напому ей, кто здесь был до неё, и она была к этому готова, и я это видела по тому, как её плечи были собраны для удара, и как она не отступила, хотя отступить ей хотелось.

Я отошла от двери. Не для неё — потому что мне нужно было к кухне, и потому что я не собиралась стоять в коридоре и ждать, пока она решит, благодарить меня или ненавидеть за то, что я отошла.

— Астрид, — сказала она мне вслед. Я остановилась, но не обернулась. — Я не знала, что печать вернут так скоро. Я думала, у меня есть время.

Я стояла и слушала её дыхание. У неё сбивалось дыхание, и это было не от подъёма по лестнице. Это было от того, что она сказала «я не знала», и теперь ждала, приму ли я это, и я не приняла, и не отвергла, и от этого ей стало хуже.

— Время, — повторила я. — У тебя было три года.

И пошла по коридору, не оглядываясь. За спиной я услышала, как открылась дверь, как она вошла, как дверь закрылась, и как после этого стало тихо, и в этой тишине я впервые подумала, что она тоже боится. Не меня. Того, что будет, когда ребёнок родится, и когда печать останется у меня, и когда замок останется моим по праву, а её — только по обещанию, которое никто не записал.

Кухня встретила меня паром и голосами. Три поварихи

стояли у стола, и при мне замолчали — не сразу, а с той задержкой в полслова, которая хуже любой тишины. Я прошла к своему месту у дальней стены, к табурету, который мне поставили вчера, и села. Табурет был низкий, с чужой ножкой, и под него подложили щепку, чтобы не качался. Кто-то подложил, и я не знала кто, и это меня задело больше, чем я ожидала.

Старшая повариха, та, что при Дарвене ещё девчонкой пришла, поставила передо мной миску. Не ту, в которой носят слугам, — глиняную, с ободком, из тех, что подают к столу в зале. Я посмотрела на миску, потом на неё. Она отвела глаза. Не от стыда — от того, что стыд ей не полагался по должности, и она не хотела показывать его при других.

— Щи, — сказала она коротко. — Ешьте, госпожа.

Госпожа. Слово упало в миску, как камень. Я не поправила. Я знала, что поправь я — станет хуже, потому что поправка означала бы, что я приняла это всерьёз, а я принять всерьёз не могла: я была в чужом платье, с чужим именем на руке, и сидела на табурете с подложенной щепкой.

Я ела. Щи были горячие, и от них пахло капустой и лавровым листом, и это был тот же запах, что в моей кухне три года назад, когда я сама решала, сколько класть лаврушки и не класть ли её вовсе. Я доела. Миску оставила у края стола, и старшая повариха забрала её молча, и я заметила, что забрала вместе с ободком, как у господской посуды.

— Инара вернулась, — сказала вторая повариха, молодая,

та, что при мне всегда говорила лишнее. — С дитём.

Она сказала «с дитём» так, будто дитя уже было в колыбели, а не под сердцем. Я встала. Табурет подо мной скрипнул, и этот звук был громче, чем мне хотелось.

— Где она сейчас? — спросила я.

— У себя, — ответила старшая. — Лорд ещё не знает. Или знает, но не спускался.

Я кивнула и вышла. В коридоре было холоднее, чем в кухне, и сырость стояла в камне, и я шла и думала о том, что «лорд ещё не знает» — это неправда, потому что в этом замке лорд всегда знает первым, просто молчит дольше других. Я шла к лестнице, и на повороте увидела Бринна.

Он стоял у стены, прижавшись к ней плечом, и руки у него были в карманах, и вид у него был такой, будто его только что ударили, но не сильно, а так, чтобы он понял, что могут ударить сильнее. Он увидел меня и покраснел. Покраснел ушами, потом шеей, потом тем местом, где у мальчишек начинается грудь.

— Госпожа, — сказал он.

— Что? — спросила я.

Он вытащил из кармана записку. Протянул, не глядя. Я взяла. Бумага была тонкая, дорожная, с чужим сургучом — не дворцовым, не замковым, а тем, что жгут на станциях, когда экономят на хорошем воске. Я развернула.

«Госпожа Астрид. Печать подтверждена. Цикл продлён королевским указом до первой весны. Ваш статус — гостья

с печатью, не жена, не служанка. Имеете право входить в совет и архив. Имеете право выходить к нижнему городу без стражи. Писец Эрвин».

Я перечитала дважды. У меня пересохло во рту. Цикл продлён. До первой весны. Это значило — зима, вся зима, и ещё кусок весны, и за это время можно родить, и вырастить, и объявить, и успеть сделать всё, что они там собирались сделать с моим именем.

— Кто дал? — спросила я.

— Привезли с утренним обозом, — ответил Бринн. — Сказали — в собственные руки.

Я сложила записку. Подержала в руке. Бумага была чуть тёплая от его кармана, и эта теплота была чужая, и я убрала её за пазуху, к телу, туда, где под рукавом был шрам.

— Бринн, — сказала я. — Ты знал, что она вернулась?

Он кивнул. Потом помотал головой. Потом снова кивнул, и я поняла, что он знал, и ему велели молчать, и он не выдержал и сказал мне, потому что сказать ему было легче, чем не сказать, и потому что ему за это ничего не будет, если он скажет, а если не скажет — будет, и он это уже понимал.

— Иди, — сказала я. — И если спросят — не говори, что отдал.

Он ушёл. Я осталась в коридоре одна, и в руке у меня была записка, и на запястье был шрам, и где-то за стеной, в комнате, которая была моей, сидела женщина с моим кольцом на полставки и моим ребёнком на полсрока, и я знала, что

вечером мне нужно будет идти к Дарвену, и что я не пойду, и что он не придёт, и что мы оба будем делать вид, что я не знаю, и он не знает, и что это тоже не считается.

Я остановилась на повороте и прижала ладонь к стене. Камень был ледяной, и под кожей шрам отозвался так, будто кто-то провёл по нему ногтем с изнанки. Записка лежала за пазухой, и от её тепла — чужого, мальчишеского — у меня горела кожа под ребрами.

Дверь в бывшую спальню была приоткрыта. Не настезь — на ладонь, ровно столько, чтобы я увидела полоску света и услышала, как внутри кто-то дышит. Ровно, со свистом на выдохе, как дышат женщины на последних месяцах, когда ребенок уже подпирает дыхало. Я знала этот свист. Я слышала его у рожениц в нижнем городе, и у жены Гарета, и у трех женщин, которых принимала в канаве под мостом, когда у одной из них отошли воды раньше срока, и не было никого, кроме меня.

Я толкнула дверь. Инара сидела на кровати — на моей кровати, на той самой, где я провела первую брачную ночь и откуда меня вынесли в одной рубашке три года назад. Платье на ней было дорожное, серое, с чужого плеча — не с моего, она была шире в кости, и ткань сидела мешком, и от этого она выглядела не беременной, а просто расплывшейся. Волосы убраны под платок. Руки на животе, поверх ткани, и пальцы сцеплены так, что костяшки побелели.

Она подняла голову. Глаза у нее были сухие и красные, и

это были не те красные глаза, когда плачут для вида, а те, когда уже нечего плакать, и человек сидит и смотрит в стену, и стена не отвечает.

— Ты пришла, — сказала она. Голос у нее был ровный, без дрожи, и это было хуже, чем если бы она дрожала. — Я думала, не придешь.

Я не ответила. Я смотрела на её руки, на белые костяшки, на то, как она держит живот — бережно и испуганно, и я поняла, что она держит не ребенка Дарвена, а ребенка, которого ей некуда нести, потому что замок ей не дом, и род ей не род, и клятвы ей никто не давал, и есть только это — каменная комната, чужая кровать и мой шрам под её дверью.

— Тебе нужна горничная, — сказала я. — И вода. И белье.

Она моргнула. Потом закрыла глаза и очень тихо засмеялась, и смех у нее был такой, что я отвела взгляд.

— Ты пришла спросить, чей он, — сказала она. — Все приходят спросить.

— Нет, — сказала я. — Я пришла сказать, что в кухне горячая вода, и что если ты родишь в этой комнате одна, я буду той, кто примет. И я не пошлю за лордом. Я пошлю за Хеллой.

Она открыла глаза. Посмотрела на меня, и я впервые увидела в её взгляде не страх и не торжество, а усталость такой давней и такой глубокой, что у меня самой перехватило горло.

— Ты ненавидишь меня, — сказала она.

— Да, — ответила я. — И ты меня ненавидишь. И сейчас это неважно. Важно, что ты сидишь в моей спальне с моим кольцом в комод, и что у тебя вода отойдет через месяц, может два, и что у тебя нет никого. И я не буду этим никем. Но я вызову того, кто будет.

Я подошла к столу, взяла кувшин, понюхала. Вода была застоявшаяся, с привкусом камня. Я вылила её в окно, поставила кувшин обратно. Инара смотрела на мои руки, и я видела, что она считает каждое моё движение, и что ей больно от того, как я это делаю — спокойно, привычно, как делала в этой комнате тысячу раз, когда ещё имела право.

— Кольцо, — сказала я. — Где.

Она молча кивнула на комод. Я подошла, открыла верхний ящик. Кольцо лежало там — мое, тонкое, серебряное, с резной змейкой, которую я сама выбирала. Я взяла его, повертела в пальцах. Оно было холодное.

Я положила его обратно.

— Оставь, — сказала я. — Оно твоё, пока ты здесь. Потом разберёмся.

Я пошла к двери. На пороге остановилась.

— Инара, — сказала я, не оборачиваясь. — Если ты мне сейчас скажешь, что любишь его, я уйду. И горячей воды не будет.

Тишина была долгая. Потом она сказала:

— Я боюсь.

И я ушла. И шла по коридору, и под рукой у меня был

шрам, и записка за пазухой грела, и я думала о том, что в замке теперь три женщины, которые боятся, и одна из них — я, и одна — она, и третья — та, которой еще нет, которая только должна родиться, и что для нее у меня тоже ничего нет, кроме моей руки, и моей клятвы, которую я никому не давала, но которую почему-то уже держу.

На повороте я остановилась. Позади, в конце коридора, слышались шаги. Тяжелые, неровные, со сбоем на каждом третьем. Я не обернулась. Я знала, кто это, и знала, что он знает, что я знаю, и что мы оба сделаем вид, что не слышим друг друга, и что это тоже не считается.

Но шрам под рукавом горел так, будто меня позвали по имени.

Шаги приближались. Я слышала, как он переставляет ноги — тяжело, будто подошвы у него не каменные, а чугунные, и каждая плита коридора отзывалась на его вес так, словно он тащил на себе что-то, что я не видела, но что он нёс три года и не мог снять. Потом шаги остановились.

— Ты была у неё, — сказал он.

Голос у него был такой, как у людей, которые долго молчат, а потом открывают рот и забывают, зачем открыли. Я не обернулась. Я смотрела на стену, и на стене был косой шов между камнями, и в этом шве засохла паутина, и я думала о том, что паутину никто не убрал с тех пор, как меня вынесли отсюда в одной рубашке, и что убирать её должны были горничные, и что горничные не убрали, и что это значит,

что приказ не убирать эту комнату отдал кто-то, у кого было право приказать, и что я теперь знаю, кто именно.

— Я была у неё, — ответила я. — И я принесла ей воду.

— Она не просила.

— Она и не попросит. Она сидит на моей кровати и ждёт, пока кто-нибудь войдёт и разрешит ей дышать.

Тишина за спиной была такая, что я слышала, как потрескивает фитиль в настенном держателе, и как где-то внизу, в кухне, глухо стукнула дверь. Потом он сказал:

— Она вернулась из Ветви раньше срока. Её привезли ночью. Мне не сказали сразу.

Я повернулась. Медленно, всем корпусом, потому что шея у меня затекла от того, как я держала её прямо, и потому что мне нужно было увидеть его лицо, а не голос за спиной. Он стоял в трёх шагах от меня, в коридорной полутьме, и под глазами у него лежали тени, и плащ был наброшен на одно плечо, и сапог, правый, был застегнут не на ту пряжку, и это было такое мелкое, такое человеческое, что у меня свело челюсть.

— Тебе не сказали, — повторила я. — Или ты не спрашивал.

Он не ответил. Это и был ответ. Я видела, как у него дернулась щека, и как он опустил руку, и как пальцы его сжались в кулак, и как тут же разжались, и как он посмотрел мимо меня, на приоткрытую дверь её комнаты, и я поняла — он боится туда войти. Не потому что там Инара. А потому что

там кровать, на которой он провёл первую ночь со мной, и теперь там сидит другая женщина, и у неё под сердцем ребёнок, и он не знает, имеет ли он право спросить чей.

— Она тебя не звала, — сказала я. — И она меня не звала. Она сидит и ждёт, и в кувшине у неё вода со вкусом камня, и бельё ей не меняли три дня, и если ты войдёшь к ней сейчас, она решит, что ты пришёл за ответом, а она ответа не знает. Поэтому не входи.

Он посмотрел на меня. Впервые за всю эту зиму он смотрел на меня так, будто я была не гостьей с печатью, и не бывшей женой, и не нищенкой в чужом платье, а человеком, который знает что-то, чего он не знает, и который готов сказать, но только если его правильно спросят.

— Что ты ей сказала, — спросил он, и голос у него сел на последнем слове, и я услышала, как он поперхнулся этим севшим голосом, и как кашлянул, чтобы это скрыть.

— Что горячая вода в кухне, — ответила я. — И что я не пошлю за тобой, если она родит. Я пошлю за Хеллой. И ещё я сказала, что кольцо в комоде её, пока она здесь. Потом разберёмся.

Он кивнул. Медленно, тяжело, как кивают люди, которым передали приговор, и они его уже знали, но всё равно слышали впервые. Потом он сказал:

— Я не знал, что она приедет.

— А я не знала, что ты не знал, — сказала я. — И теперь мы оба знаем больше, чем хотели.

Я пошла к себе. Мимо него, по стене, чтобы не задеть его плащом, и он не шевельнулся, и мы разошлись, как расходятся люди, которые когда-то были одним целым, а теперь у каждого свой коридор, и своя дверь, и свой замок, и своя женщина за стеной, которую он боится спросить, а я боюсь пожалеть.

На повороте я остановилась и прижала ладонь к стене. Камень был ледяной, и под кожей шрам отозвался так, будто кто-то провёл по нему ногтем с изнанки. Записка лежала за пазухой, и от её тепла — чужого, мальчишеского — у меня горела кожа под рёбрами. Где-то позади, в конце коридора, снова слышались шаги. На этот раз ровные, медленные, и я поняла, что он идёт к её двери.

Внизу, в кухне, пахло капустой и дымом, и кто-то из поварят оставил на столе миску с кашей, и каша была ещё тёплая, и я поняла, что не ела со вчерашнего утра. Я села на лавку, подвинула к себе миску, и ела медленно, ложкой, и смотрела, как каша остывает, и не чувствовала вкуса. Рука под рукавом пульсировала ровно, и пульс был не мой — слишком тяжёлый, слишком низкий, будто под кожей стучало второе сердце, мужское, и я знала, чьё, и от этого знания ложка в руке стала скользкой.

Марта прошла мимо, не посмотрев. Поставила на плиту ещё один котёл, сняла фартук, повесила на гвоздь. У двери остановилась.

— Вам ещё? — спросила она, и голос у неё был ровный,

и глаза были умнее слов, и я поняла, что она уже знает, кто в комнате наверху, и что ребёнка привезли ночью, и что я там была, и что я вышла, и что я не плакала, и что это тоже ей о чём-то говорит.

— Нет, — ответила я. — Марта.

Она обернулась. Я положила ложку. Каша в миске застыла, и на ней осталась борозда, и я подумала, что надо было доесть, потому что силы мне понадобятся, и что силы у меня теперь — это не мясо и не хлеб, а чужой шрам под кожей, и чужой пульс, и чужой ребёнок за стеной.

— Когда её привезли, — спросила я, — ты видела?

Марта кивнула. Один раз, коротко, как кивают люди, которые давно перестали считать чужие тайны.

— В карете без герба, — сказала она. — Кучер был в сером плаще, с чужого плеча. Её вели двое. Она не опиралась, но шла медленно, и её вели так, будто она стеклянная.

— Она не стеклянная, — сказала я. — Она просто боится.

Марта посмотрела на меня долго, и во взгляде у неё было что-то, что я не смогла прочесть, и отвернулась к плите, и я поняла, что больше она ничего не скажет, и что этого хватит.

Наверху, над кухней, скрипнула дверь. Я не подняла головы. По звуку я узнала, что это её дверь, и что она вышла, и что она стоит на пороге, и что в руке у неё кружка с молоком, и что она смотрит вниз, в пролёт лестницы, и что я сижу внизу, спиной к ней, и что она видит мою шею, и мой шрам под воротом, и миску с кашей, и ложку, которую я отложила.

Я не обернулась. Я доела кашу. Я положила ложку в миску, и миску отодвинула, и руки вытерла о тряпку, и тряпка была холодная, и руки были холодные, и я подумала, что надо встать и уйти, и что если я встану, она увидит, как я встаю, и если я не встану, она увидит, как я сижу, и оба раза это будет считаться.

— Астрид, — сказала она сверху.

Голос у неё был тихий, и трещина в голосе шла не по середине, а по краю, и я поняла, что она не играет, и что у неё правда болит, и что кружка в её руке дрожит, и что молоко через край капает ей на пальцы, и что ей холодно, и что она не знает, кого звать.

Я встала. Лавка скрипнула. Я обернулась. Она стояла на верхней ступеньке, и платье на ней было тёмное, и под платьем у неё был живот, и живот был виден, и она его не прятала, и я поняла, что она не прячет его специально, и что это тоже считается.

— Молоко остынет, — сказала я.

Она кивнула. Я поднялась на три ступени, остановилась ниже её на одну, так, чтобы глаза были на одном уровне. От неё пахло чем-то кислым, и я поняла, что её рвёт по утрам, и что она никому не сказала, и что это пахнет не болезнью, а страхом, и что страх у неё тоже под сердцем.

— Меня не звали, — сказала она.

— И меня не звали, — ответила я. — Я пришла сама. Воду носила сама. Бельё просила сама. Молоко принесла Марта.

Я к ней не ходила.

— Я знаю, — сказала она. — Я слышала.

— Тогда ты знаешь и остальное, — сказала я. — Что я не скажу никому, и что ты не скажешь никому, и что мы обе знаем, и что это не дружба, и не мир, и не договор. Это просто пауза.

Она отпила из кружки. Молоко потекло у неё по подбородку, и она не вытерла, и я не подала платок, и платок у меня был, и я знала, что она знала, и что мы обе сделали вид, что платка нет.

— Астрид, — сказала она снова, и на этот раз голос у неё сломался окончательно, и я увидела, как у неё задрожали губы, и как она прижала ладонь к животу, и как живот у неё дёрнулся, и я поняла, что ребёнок там, внутри, уже отвечает на её голос, и что это самая страшная вещь, которую я видела за три года, и что мне нельзя её жалеть, и что я её жалею.

— Не сейчас, — сказала я. — Допей молоко. Ляг. Я пришлю к тебе Хеллу. Не меня. Хеллу. Потому что я не умею принимать роды, и потому что ты не хочешь, чтобы я была рядом, когда будет больно, и потому что я тоже не хочу.

Она смотрела на меня, и глаза у неё были мокрые, и я видела в них отражение лестницы, и своё отражение в её отражении, и я подумала, что это как зеркала в зеркалах, и что где-то в самом конце этой бесконечной лестницы стоит женщина, которая решает, кому из нас остаться, и что эта женщина — не она, и не я, и не он, а печать под рукавом, и что

печать молчит, и что её молчание — это и есть цена.

Я развернулась и пошла вниз. На середине пролёта остановилась, не обернулась.

— Кольцо в комоде твоё, пока ты здесь, — повторила я.
— Потом разберёмся.

И ушла. И за мной хлопнула кухонная дверь, и в кухне пахло капустой, и Марта мыла котёл, и не посмотрела на меня, и я была ей за это благодарна, и записка за пазухой горела мне в рёбра, и я подумала, что пауза кончилась, и что с утра всё начнётся сначала, и что я к этому готова, и что это враньё, и что я всё равно готова.

Я стояла и слушала, как он подходит, и как останавливается, и как стоит, и как не стучит, и как уходит обратно, и как его шаги стихают за углом, и как в коридоре снова становится тихо, и как в этой тишине я слышу, как в её комнате, за приоткрытой дверью, кто-то тихо плачет.

Я не пошла обратно. Я постояла ещё немного, и потом пошла вниз, в кухню, и попросила у Марты горячей воды и чистого белья, и полотенце, и кружку молока с мёдом, и Марта всё это дала, не спросив для кого, и я отнесла наверх, и поставила у порога, и постучала один раз, тихо, и ушла, не дожидаясь, пока она откроет.

Шрам под рукавом горел ровно, и я впервые подумала, что печать — это не только закон, и не только цена, и не только поводок. Это ещё и то, что у меня болит, когда у той, за дверью, болит живот. И что это, наверное, самая страшная

часть договора, и что мне с этим теперь делать, я не знаю.

Глава 4. Совет в чужом плече

Платье жало под мышками. Я это почувствовала, как только Бринн застегнул последний крючок, — ткань была чужая, с чужого плеча, и сидела так, будто её кроили на женщину ниже меня на голову. Рукава едва доходили до локтя, и от этого казалось, что руки у меня слишком длинные, или я слишком худая после трёх лет под мостом, или и то и другое сразу. Бринн замер за спиной и выдохнул, будто хотел что-то сказать, но я качнула головой, и он стиснул губы и отступил.

В большом зале пахло воском, копотью и дублёной кожей. Старейшины сидели уже на местах — Торвен Камень во главе, два его родича по бокам, писец Эрвин с пером наготове, и Лисса из Дома Серой Воды, которую я раньше видела только в воротах, теперь заняла место по правую руку от пустого кресла. Пустого. Кресла лорда.

Я вошла, и двери за мной закрылись. Чей-то кашель прошёлся по рядам, кто-то отложил кубок. Я не смотрела на лица, я смотрела прямо перед собой, на длинный стол, на сургуч королевской печати, на перо в руке Эрвина, и на рукава — на свои рукава, из-под которых был виден бинт, намотанный от запястья почти до кости. Инара постаралась. Она прислала платье точно по размеру, только не моему, и я знала, что она сделала это нарочно, потому что ей принесли записку о совете раньше, чем мне.

Торвен поднялся, не дожидаясь Дарвена.

— Дитя, — начал он, и я остановилась на середине прохода. — Королевский суд продлил зимний цикл. Ты знаешь об этом.

Я знала. Я кивнула, и шрам под бинтом дёрнулся, тёплой, тянущей болью.

— Знаю.

— Тогда ты знаешь и то, что род имеет право спросить, на каком основании ты входишь в этот зал.

Я не ответила сразу. Я подождала, пока Эрвин допишет слово, и сказала:

— На основании печати.

Лисса улыбнулась, мягко, как улыбаются ребёнку, который не туда поставил кубик.

— Печать, — повторила она. — И где же она?

Я не стала спорить. Я стянула бинт зубами с правой руки — медленно, потому что ткань присохла к шраму, и под ней кожа была красная, набухшая, и печать лежала на запястье чужим, живым, пульсирующим пятном. Зал ахнул. Кто-то встал. Торвен поднял руку, и стихло.

— Печать, — сказала я. — Как видите.

Эрвин писал, не поднимая глаз, но я заметила, как он быстро обмакнул перо, чтобы успеть за моим голосом.

— Сядь, — сказал Торвен, и я села на первый стул у стены, на место для свидетелей, а не для гостей. Я заметила это. Лисса заметила тоже.

Дверь в конце зала открылась, и вошёл Дарвен. Он шёл быстро, и плащ сбился у него на одном плече, и рукав рубашки был тёмный, влажный, будто он только что оторвал её от чего-то горячего. Он не посмотрел на меня. Он прошёл к креслу, сел, и тогда поднял глаза.

Он увидел платье. Я видела, как он увидел — по тому, как его пальцы сжали подлокотник, и по тому, как остановился его взгляд на моём запястье. Печать под рукавом горела, и я знала, что он это чувствует, потому что его рука, лежавшая на подлокотнике, вдруг дрогнула и сжалась в кулак.

— Довольно, — сказал он Торвену. — Совет слушает её.

Торвен открыл рот и закрыл. Лисса опустила глаза. Я выпрямила спину, и ткань под мышками врезалась глубже, и я не повела бровью. За стеной, в коридоре, слышались шаги — лёгкие, быстрые, женские, — и я поняла, что Инара стоит за дверью и слушает, и что Дарвен тоже это понял, потому что его кулак разжался, и он положил руку обратно, и движение это было таким медленным, будто у него болели все кости.

Торвен откашлялся в кулак, развернул перед собой лист и заговорил так, будто читал поминальный список, а не адресовал живому человеку, сидящему в трёх шагах от него.

— Астрид из рода Северного Огня, в девичестве хранительница, ныне гостя по указу суда. Род имеет к тебе три вопроса. Первый. Откуда у тебя печать, если по решению того же суда она была снята с твоей руки три года назад?

Я почувствовала, как шрам на запястье дёрнулся снова, и поняла, что отвечать нужно сейчас, пока Лисса не вставила своё мягкое слово.

— Печать вернул свидетель Тобин, печник из нижнего города, через королевского писца Эрвина. Я приняла её у ворот. Если у старейшин есть сомнения в подлинности, прошу вызвать Тобина и Эрвина.

Эрвин поднял голову от пергамента, кивнул и снова опустил. Торвен стрельнул в него глазами, но промолчал.

— Второй вопрос, — продолжил он тем же ровным голосом. — На какие средства ты намерена жить в замке до конца цикла, если реестр рода, составленный после развода, не числит за тобой ни приданого, ни содержания?

Я выпрямила спину. Ткань под мышками врезалась так, что я перестала чувствовать левый бок, и я ухватила за эту боль, как за ручку двери.

— Реестр, — сказала я. — Я не видела этого реестра. Я видела другой, кухонный, с долгом замку за мной. Прошу совет назначить сверку.

По залу прошёл ропот. Лисса подняла руку, и ропот стих, будто его задули.

— Кухонный реестр, — повторила она с ласковой улыбкой. — Уважаемая Астрид, кухонный реестр — это записи о крупах и свечках, а не о приданом. Вы, верно, устали с дороги и путаете документы.

Я посмотрела ей в глаза, не отводя взгляда, и она отвела

первой.

— Я не путаю, — сказала я. — Я прошу сверку.

Торвен стукнул костяшками по столу, и я поняла, что он злится, но злится не на меня, а на Лиссу, которая полезла говорить за совет.

— Третий вопрос, — выговорил он наконец. — Готова ли ты, как гостья с печатью, подчиняться порядку дома, в который тебя впустили?

Дарвен шевельнулся в кресле. Я не смотрела на него, я смотрела на Торвена, но я слышала, как скрипнула кожа подлокотника под его пальцами.

— Я готова подчиняться порядку, — сказала я, — который не противоречит королевскому указу. Остальное обсудим отдельно.

Торвен откинулся на спинку стула. Один из его родичей, сухой старик с жёлтыми глазами, подал голос первый раз за весь совет.

— Отдельно, — повторил он, и слово прозвучало как треск ломаемой кости. — У нас нет «отдельно», дитя. У нас есть зимний цикл, долг перед короной и двести гектаров северных земель, которые мы потеряем, если совет Домов усомнится в чистоте твоей печати. Ты сидишь здесь не как гостья, ты сидишь здесь как обвинение, которое мы обязаны опровергнуть. Помоги нам, и мы поможем тебе.

Я молчала. Я считала удары сердца, и они были слишком громкие, и я знала, что Эрвин записывает и это молчание, и

эту паузу, и что он потом, вечером, принесёт мне лист, и я подпишу его, и он ляжет в общую папку, и когда-нибудь этот лист спасёт мне жизнь или отберёт её.

Дарвен поднялся. Кресло скрипнуло, и звук был такой, будто кто-то провёл ножом по стеклу.

— Совет услышал, — сказал он, и голос у него был негромкий, но зал сразу сел ровнее. — Печать подлинная, она принята при свидетелях у ворот. Кухонный реестр старейшина Камень обязан предоставить в совет в течение трёх дней. Вопрос о средствах к существованию решается распоряжением лорда, а не голосованием. Заседание окончено.

Он не сказал «благодарю». Он не сказал «свободны». Он сказал «окончено», и это слово легло на зал, как крышка гроба, и все поняли, что двигаться нельзя, пока он не выйдет первым.

Торвен встал, поклонился — коротко, через силу — и пошёл к боковой двери. Лисса осталась сидеть, и я увидела, как она медленно складывает перед собой лист, и как её пальцы чуть дрожат, и как она не смотрит ни на меня, ни на Дарвена, а смотрит на сургуч королевской печати, будто прикидывает, долго ли он ещё будет на этом столе.

Дарвен подошёл ко мне. Не к столу, не к Эрвину, не к двери — ко мне, и остановился в шаге, и я почувствовала запах дыма от его рубашки, и под ним запах холодного пота, и под ним что-то ещё, чего я три года не чувствовала и не хотела узнавать.

— Встань, — сказал он тихо, так, чтобы слышала только я и Эрвин.

Я встала. Платье под мышками лопнуло с тихим треском, и я почувствовала, как холодный воздух зала лизнул кожу под тканью, и как шрам на запястье в ответ запульсировал сильнее, будто печать решила, что её хозяйку наконец-то увидели так, как она того стоила.

Дарвен снял с себя плащ. Не тот, в котором пришёл, а другой, тёплый, подбитый мехом, с гербом Северного Огня на плече, и молча накинул мне на плечи. Плащ был тяжёлый, пах им, и я не успела ни отказаться, ни поблагодарить, потому что он уже повернулся и пошёл к двери, и зал молчал, и Лисса молчала, и Инара за дверью молчала тоже, и я знала, что к вечеру об этом плаще будет знать весь нижний город, и что Инара заплачет, и что Торвен запишет этот жест в свою памятку, и что цена его будет названа позже.

Я осталась стоять посреди зала, в чужом рваном платье и в его плаще, и Эрвин дописывал последнюю строку, и перо у него шло медленно, будто он боялся её закончить.

Плащ лежал на плечах как наказание. Мех был мягкий, слишком мягкий для человека, которому я отказывала три года подряд, и от этого мягкого хотелось содрать его с себя прямо в зале, пока старейшины ещё расходились и пока Лисса ещё сидела, делая вид, что складывает лист.

Я не стала. Я сжала ткань у горла и пошла к выходу, и каждый шаг отдавался в шраме под рукавом, и я знала, что

это не боль, это печать узнаёт запах хозяина, и что ей всё равно, что я не хочу, чтобы она его узнавала.

У двери я почти столкнулась с Инарой. Она стояла за косяком, прижав ладонь к своему круглому животу, и глаза у неё были мокрые, и она не пыталась это скрыть, и это было хуже, чем если бы она попыталась. Я остановилась. Она посмотрела на плащ, на герб на моём плече, и я увидела, как у неё дрогнул подбородок, и как она прикусила нижнюю губу, и как потом разжала зубы, будто решила не плакать при мне.

Она не сказала ни слова. Я тоже. Между нами остался только её запах — цветочный, чужой, привезённый из Зимней Ветви, — и запах его плаща, и я поняла, что проиграла ей эту секунду, потому что он ушёл к двери, а она стояла у косяка, и обе мы знали, к кому он шёл.

Я прошла мимо неё, не задев, но близко, и почувствовала, как шрам под рукавом дёрнулся в её сторону, будто хотел что-то сказать ей за меня, и я сжала ткань плаща у горла сильнее.

В коридоре было холоднее, чем в зале. Двое слуг, незнакомых мне, новых, привезённых, видимо, вместе с Инарой, отступили к стене, и я поймала их взгляды — быстрые, одинаковые, цепкие. Они смотрели на плащ. Они считали герб. Они уже расскажут.

Я остановилась. Я повернулась к ним, и плащ сполз с одного плеча, и я не стала его поправлять.

— Что смотрите? — спросила я.

Один из них опустил глаза. Второй — нет.

— Госпожа, — сказал он осторожно, и слово прозвучало как извинение, которое он мне не предлагал. — Лорд Дарвен приказал проводить вас в вашу комнату и принести горячее.

Я не двинулась. Я смотрела на него, и он отвёл взгляд первым, и я поняла, что он боится не меня, а того, что стоит за мной в виде плаща, и что эту боязнь мне не перепрыгнуть, потому что плащ — это не я.

— Не сейчас, — сказала я. — И не от него.

Слуг я отпустила взглядом. Они ушли, и шаги их были слишком быстрые, и я знала, что к вечеру половина замка будет знать, что я отказалась от его горячего, и другая половина решит, что я просто не успела проголодаться.

Я пошла к чёрной лестнице. На середине пролёта я остановилась и посмотрела вниз, в тёмный пролёт, и оттуда тянуло холодом снизу, из кухни, и пахло капустой, и где-то там, в кухонном архиве, лежал мой реестр, мой настоящий документ, и я подумала, что мне нужно туда спуститься, пока старейшины не опомнились и не заперли двери.

Плащ я сняла только у своей двери. Сняла и повесила на крюк, и крюк скрипнул, и звук был такой, будто кто-то в коридоре остановился послушать. Я проверила рукой — никого. Я вошла к себе и закрыла замок.

В комнате было холодно. Печь не топили со вчерашнего дня. Я посмотрела на плащ на крюке, на герб, на мех, и поняла, что он лежит ровно так, как должен лежать мужской

плащ, и что у меня нет сил перевесить его иначе, и что если я оставлю его так, к утру кто-нибудь решит, что я его берегу, а если перевешу — что я его отвергаю, и оба эти прочтения будут стоять мне чего-нибудь, чего я ещё не знаю.

Я подошла к окну. Замок лежал внизу, серый от инея, и в одном окне на втором этаже горел огонь, и я знала, что это его окно, потому что только у него в кабинете жгут три свечи вместо одной, и что он сейчас сидит за столом, и что у него в руке, возможно, перо, а возможно — кубок, и что я не могу разглядеть, и что от этого незнания у меня снова дёрнулось запястье, и я прижала его ладонью к подоконнику.

Холод подоконника был хороший, ровный, чужой. Шрам под ним отозвался тихо, без боли, и я поняла, что он не злится, он просто слушает, и что мне нужно решить, хочу ли я, чтобы он услышал то, что я собираюсь сделать.

Я отняла руку от подоконника, посмотрела на плащ ещё раз и пошла к двери. Мне нужно было вниз, в кухонный архив, пока Торвен не прислал за реестром кого-нибудь быстрее меня.

Лестница пахла холодной известью и чужим дымом, и на каждой ступеньке я считала не ступеньки, а слух, который уже ушёл вперёд меня.

На площадке между этажами стояла Бринн. Он мял в руках шапку и смотрел в пол, и когда я вышла из-за поворота, он вскинул голову, и я увидела, как у него дрогнули пальцы, и как он тут же спрятал руки за спину, будто я могла не за-

метить.

— Госпожа, — сказал он, и голос у него был сиплый, — лорд Дарвен приказал...

— Я знаю, — перебила я. — Горячее. Позже.

Он не двинулся с места. Я остановилась на ступеньку выше его, и мы оказались почти вровень, и я увидела, что у него под глазом свежая ссадина, и что он не смотрит на мой плащ, хотя должен бы, потому что плащ был на мне до самой двери, и теперь его нет, и значит, Бринн уже знает, что я его сняла.

— Госпожа, — повторил он тише, — там внизу... Тобин.

Имя упал на площадку, как монета на камень. Я не двинулась, и он это понял, и быстро заговорил, путаясь в словах, краснея ушами:

— Он пришёл к кухне сразу после совета. Сел за стол домоправителя. Говорит, что без него реестра не отдадут. Говорит, что печать он вернул, и что теперь его очередь.

Я смотрела на него и думала о том, что мальчишка мне врёт, и что он сам это знает, и что ссадина под глазом — это не цена за враньё, а цена за то, что он врёт плохо, и что кто-то его уже ударил за это, и что этот кто-то сейчас сидит внизу за моим столом.

— Кто его впустил? — спросила я.

Бринн дёрнул плечом.

— Марта, — сказал он, и имя у него прозвучало как собственная вина. — Марта сказала, что гость при кухне имеет право.

Я кивнула. Гость при кухне. Тобин. Я знала это правило, я жила под ним три года, пока сама была гостьей под чужим мостом, и теперь оно пришло за мной с другой стороны, и от этого стало смешно, и смех я не выпустила, а проглотила, и он встал в горле колом.

— Иди к Марте, — сказала я. — Скажи, что я иду. Скажи, что реестр рода не выдаётся гостю при кухне без хозяйки архива. Скажи, что хозяйка архива — я.

Он кивнул и метнулся вниз, и шаги его были лёгкие, торопливые, и я подумала, что он побежит не к Марте, а назад к Дарвену, и что Дарвен будет знать обо всём раньше меня, и что это, может быть, и к лучшему, потому что Торвен не успеет.

Я пошла за ним, но медленно. На середине пролёта остановилась, прижала ладонь к стене, и камень был холодный, но под холодом я почувствовала слабую, едва заметную пульсацию, и поняла, что печать слушает, как я и думала, и что она считает шаги внизу, и что ей всё равно, чьи они.

Лестница вывела меня прямо в кухонный коридор, и там пахло капустой и свежим хлебом, и у печи стояла Марта с полотенцем через плечо, и она не обернулась, когда я вошла, и это было её ответом, и я приняла его.

Тобин сидел за столом, который три года назад был моим. Он был худой, с красными от ветра руками, и одет в чужую куртку, и на столе перед ним лежал реестр, раскрытый на странице с моим приданым, и он водил по строчкам пальцем,

как будто умел читать, и я знала, что не умеет, и что ему это и не нужно.

Он поднял голову. Увидел меня, и в глазах у него мелькнуло что-то быстрое, жадное, и я поняла, что он продал меня уже сегодня, и что покупатель сидит в зале совета, и что реестр — это не бумага, это цена, и что я опоздала на полчаса.

— Гость при кухне, — сказала я, — не имеет права трогать хозяйские книги.

Он усмехнулся, и усмешка у него была чёрная, без зубов.
— А хозяйка кто? — спросил он.

Я не ответила. Я подошла, забрала реестр у него из-под руки, и пальцы у него дрогнули, но он не удержал, и я закрыла книгу, и положила ладонь поверх, и почувствовала, как печать под рукавом отозвалась на её тепло, и как шрам стал тёплый, почти горячий, и я подумала, что если Тобин сейчас дёрнется, я успею нажать ладонью сильнее, и что печать сама решит, что с ним делать.

Тобин не дёрнулся. Он откинулся на спинку стула и сложил руки на груди.

— Без меня печать — краденая, — сказал он спокойно.
— Это всем в зале известно. Я свидетель. Я гость. Я имею право.

— Право, — повторила я, — сидеть за хозяйским столом без приглашения хозяйки. Право трогать чужой реестр. Право продавать чужую печать тому, кто больше даст.

Он не отвёл взгляда.

— Тобин, — сказала я тихо, — я не буду с тобой торговаться. Я дам тебе место при кухне, когда печать подтвердят на совете. До совета ты гость. Гость ждёт. Если ты не хочешь ждать, ты выйдешь из замка до утра, и я не стану тебя удерживать.

Он усмехнулся снова, и усмешка у него стала тоньше, и я увидела, что он считает мои слова, и что они ему не нравятся, и что у него в кармане что-то лежит, и что это что-то — не монета.

— До утра, — повторил он, — я подожду.

У двери в коридор я остановилась. Не потому что хотела обернуться, а потому что камень под ногой стал тёплый, и я поняла, что это значит, и прижала реестр к груди крепче, и пошла дальше, считая шаги, чтобы не считать удары сердца.

В коридоре было пусто. Свечи в настенных кольцах догорели до середины, и воск застыл на камне белыми дорожками, и пахло не капустой, а чужими духами, сладкими, тяжёлыми, и я узнала их раньше, чем увидела её саму.

Инара стояла у поворота к её комнате. Без свечи. Без свиты. В тёмном платье, под которым угадывался живот, и руки она держала на этом животе, и я подумала, что она его уже чувствует, и что она уже знает, что я знаю, и что между нами осталась одна печать и одно невысказанное имя.

— Астрид, — сказала она тихо. Голос у неё был ровный, без слёз, и это было хуже, чем слёзы. — Я слышала про совет. Я слышала про платье.

Я остановилась в трёх шагах от неё. Реестр я не выпустила. Шрам под рукавом тёплой монетой лежал на запястье, и я знала, что она видит край этой монеты, потому что рукав у тесного платья сполз, и я не стала его поправлять.

— Платье, — повторила я, — мне вернут.

— Я не про платье, — сказала она, и голос у неё дрогнул, и я поняла, что она сейчас попросит, и что я не хочу слышать. — Я про старейшин. Они тебя не отпустят. Они его заставят. Ты же знаешь, как это устроено.

— Знаю, — сказала я. — Я там была. В чужом плече.

Она отвела глаза, и я увидела, как у неё побелели костяшки на животе, и как она сглотнула, и как она снова посмотрела на меня, и в глазах у неё было то, что я видела сегодня у всех, — голод пополам со страхом.

— У меня ничего нет, — сказала она. — У меня только он. И ребёнок. Если они его закроют...

— Если его закроют, — перебила я, и голос у меня был хриплый, — тебе дадут комнату в Зимней Ветви. Тебе дадут имя. Тебе дадут всё, что обещали.

Она моргнула. Я увидела, как у неё качнулась голова, и подумала, что она сейчас упадёт, и что я не подхвачу, и что это будет стоить мне чего-то, чего я потом не смогу вернуть.

— Я не для того сюда приехала, — сказала она тихо. — Я приехала, потому что он позвал.

— Он не звал, — сказала я. — Он написал твоему отцу. Это разные вещи.

Она не ответила. Я видела, как у неё задрожали губы, и как она их прикусила, и как она посмотрела на реестр у меня в руках, и как она поняла, что это не её документ, и что за этот документ ей придётся заплатить больше, чем у неё есть.

Я пошла мимо неё. На середине поворота я остановилась, и сама не знаю зачем, и обернулась, и она всё ещё стояла у стены, и руки у неё лежали на животе, и я подумала, что она красивая, и что я её ненавижу, и что это две разные вещи, и что обе они сейчас стоят дороже, чем весь реестр.

— Инара, — сказала я, и она вздрогнула от своего имени. — Если ребёнок от него, тебе нечего бояться совета. Если нет — тебе нечего бояться меня. Решай сама.

Я ушла. Шаги мои гулко отдавались в пустом коридоре, и я считала их до её двери, и до своей двери, и до лестницы, и до того места, где камень под ногой стал холодным, и где печать под рукавом перестала гореть, и где я остановилась и прижала реестр к груди и поняла, что я только что сделала, и что обратно это не возьму.

За стеной, в его кабинете, скрипнул стул. Я постояла ещё минуту, и пошла к себе.

Он встал, отодвинул стул, и стул скрипнул по камню, и звук был долгий, и Марта у печи наконец обернулась, и я увидела в её глазах то, что она не сказала вслух, и что я поняла без слов: реестр уже смотрели. Не я. Кто-то до меня.

Я прижала книгу к груди. Печать под рукавом горела ровно, и я знала, что Дарвен за стеной, в своём кабинете, чув-

ствуется то же самое, и что он сейчас встанет, и что он придёт сюда, и что мне нужно решить, открыть ли ему дверь или встретить его в коридоре, и что оба эти решения будут стоить мне чего-нибудь, чего я ещё не знаю.

Я пошла к выходу, и реестр несла обеими руками, и шрам под рукавом пульсировал в такт шагам, и я считала ступеньки, и думала о том, что цена, которую назвал Тобин, уже не его, и что цена, которую назову я, ещё не прозвучала, и что между этими двумя ценами стоит одна дверь, одна печать и один мужчина за стеной, который слышит, как я иду.

Глава 5. Реестр на кухне

Кухня пахла вчерашним хлебом и чужим потом. Я вошла через низкую дверь, привычно пригнувшись, и в этот раз дверной проём показался мне ниже, чем был три года назад, хотя косяк никто не перестраивал. Просто я отвыкла быть здесь по праву. Марта оглянулась от разделочного стола, вытерла руки о фартук, кивнула — ровно настолько, насколько кивала любому гостю, не больше, — и я поняла, что меня здесь видят. Гостью с печатью, не хозяйку.

Повар Тобин, мой ровесник, а теперь — гость при кухне, — сидел на опрокинутом ведре у очага и чистил репу. Руки у него были чёрные от земли, под ногтями въелась грязь, и он не встал, когда я вошла, только поднял глаза и сказал: «Леди Астрид». Без иронии, но и без почтения, и я почувствовала, как у меня дёрнулась щека. Он не спрашивал, зачем я здесь. Он ждал, что я скажу, и я сказала.

— Мне нужен реестр. Тот, что лежал у поваров. Старый, в кожаной крышке, с печатью рода на углу.

Тобин перестал чистить репу. Посмотрел на Марту. Марта посмотрела на меня. Я держала руки вдоль тела, чтобы не было видно, как они дрожат, и это получалось плохо, потому что левая рука — та, что со шрамом под рукавом — всегда дрожит сильнее, когда я нервничаю, и Тобин это знал. Он знал и то, что реестр существует. Я видела, как у него чуть

дрогнули ноздри, когда я назвала «кожаную крышку». Значит, реестр здесь. Значит, его не сожгли.

— Леди, — сказал он, — это кухонные книги. Гости с печатью в них дела нет.

— У носительницы печати есть дело в любой книге дома, где записано её имя, — ответила я, и сама удивилась, как ровно это прозвучало. — Я имею право видеть. Домоправитель подтвердит.

Тобин положил нож. Встал. Он был выше меня на две головы и шире в плечах, и от него пахло репой, и дёгтем, и тем особым запахом нищеты, который нищей не вытравить из вещей, даже если ей дали новый фартук. Он сказал тихо, так, чтобы слышала только я и Марта:

— Леди, вы три года не были в этом доме. Вы три года не были ни в каком доме. Реестр лежал там, где его никто не смотрел. Я нашёл его первым. Я его сохранил. У меня к вам разговор, и разговор этот — о цене, которую мне должен дом, а не дом мне.

Я не отвела глаз.

— Где реестр?

— В сундуке под лестницей, — сказала вдруг Марта, не поднимая головы от теста. — Второй снизу. Ключ у меня.

Тобин резко повернулся к ней. Она продолжала месить тесто. Я молча протянула руку. Марта вытерла ладонь о фартук, достала из-под передника связку, отцепила маленький медный ключ и положила мне на ладонь. Ключ был тёплый.

Марта смотрела, как я зажимаю его в кулак, и у неё было то самое выражение, которое я помнила по прежней жизни: она делала то, что считала правильным, и не собиралась за это извиняться.

Сундук стоял там, где она сказала, — в тёмном углу под лестницей в кладовую. В крышке действительно была вдавлена маленькая родовая печать Северного Огня, и я провела по ней пальцами, и шрам под рукавом отозвался так, будто я коснулась горячего. Крышка скрипнула. Сверху лежали мешки с крупой, под ними — стопка промасленных тряпок, а под тряпками — кожаный переплёт, толстый, тёмный, с завязками. Я вытащила его, положила на колени, развязала. Бумага пожелтела, но чернила держались. Я листала медленно. Расходы на соль. На дрова. На свечи. На жалованье повару. Записи шли по годам, и я искала три года назад, когда меня вычеркнули из родовых книг и сожгли мою подпись в зале суда.

Нашла. «Расход по разводу: серебро — королевскому писцу, серебро — судье Лиссе, серебро — на временное содержание носительницы печати в период разбирательства». Строки шли ровным почерком, и рядом стояла подпись казначея, и подпись домоправителя, и маленькая сургучная печать, и — на полях, другим почерком, торопливо — приписка: «Приданое носительницы передано в казну рода по решению совета».

Я перечитала приписку дважды. У меня перехватило гор-

ло. Я знала, что приданое забрали, — весь замок знал, — но я не знала, что это записано в реестре как расход, и что запись скреплена печатью, и что её можно показать совету, и что совет обязан будет объяснить, куда ушли двадцать шесть фунтов серебра, которые мой отец собрал по монете с соседей, когда я выходила замуж. Я закрыла реестр. Положила его обратно в сундук. Заперла. Ключ остался у меня.

— Леди, — сказал сзади Тобин. Я не обернулась. — Леди, вы забрали ключ. Вы забрали книгу. У меня к вам разговор о цене, и цена эта — не серебро.

— Цену мы обсудим при свидетелях, — ответила я, всё ещё не оборачиваясь, и голос у меня не дрогнул, и это было, пожалуй, самое дорогое, на что я сегодня была способна. — Сейчас мне нужно идти к домоправителю. У носительницы печати есть к нему юридический вопрос.

Я вышла из кухни. Реестр я оставила в сундуке, и ключ лежал у меня в кармане чужого платья, и карман был тесный, и ключ впивался в бедро, и я чувствовала его при каждом шаге, и шрам под рукавом ныл — не сильно, а так, как ноет зуб перед дождём, — и я знала, что мне нужно вернуться в свою комнату, достать из-под матраса писаря Эрвина и попросить его снять копию. Я шла по коридору, и под ногами был камень, и камень был тёплый, и я впервые за три года знала, что у меня в кармане лежит не подаяние, а ключ, и что за этим ключом стоит документ, и что за документом стоит моё имя, и что это имя, может быть, впервые за все эти годы

чего-то стоит.

У двери в мою комнату я остановилась. Прислушалась. За стеной было тихо. Тихо так, как бывает тихо в доме, где кто-то один не спит и считает удары собственного сердца, чтобы не думать. Я повернула ключ в замке — в моём замке, с моей стороны, — и вошла, и закрыла за собой дверь, и прижалась к ней спиной, и достала из кармана медный ключ, и положила его на стол, и он тихо звякнул о дерево, и звук был такой маленький, что его мог слышать только тот, кто стоит за стеной и не решается постучать.

Медный ключ лежал на столе, и я смотрела на него так, будто он мог исчезнуть, если я отведу глаза. Маленький, тёплый от моего кармана, с бороздкой на бородачке, протёртой чужими пальцами до блеска. Я провела по нему подушечкой большого пальца и почувствовала, как шрам под рукавом снова отозвался — глухо, низко, как нота, взятая не на том инструменте.

За стеной кашлянули. Один раз. Сухо, в кулак. Я замерла. Кашель был его — я узнала бы его из сотни, даже через камень, даже через три зимы. Он не спал. Он слышал, как я вошла. Он слышал, как ключ звякнул о дерево. И теперь он дал мне знать, что он там, и я не знала, зачем он это сделал — чтобы я перестала прижиматься к двери спиной, или чтобы я поняла, что он считает мои шаги.

Я выпрямилась. Медленно отлепила лопатки от двери. Подошла к столу. Ключ остался лежать. Я села на край кро-

вати, не снимая ботинок, потому что в чужом тесном платье ботинки снимать было мучением, и потому что я не собиралась устраиваться здесь как дома. Потом встала, подошла к маленькой печке в углу, пощупала воздух. Печка была едва тёплая. Эрвин говорил, что в этой комнате раньше жила прачка, и что её вывели за воровство, и что с тех пор сюда никто не вселялся, потому что домоправитель считал комнату несчастливой. Несчастливой. Я усмехнулась. Для нищенки с печатью дракона — в самый раз.

Я снова села. Достала из-под матраса тонкую тетрадку писаря Эрвина — он оставил её мне вчера, вместе с огрызком свечи, и сказал, не глядя в глаза: «Если что-то нужно записать, леди, я сниму копию у архивариуса. Только скажите заранее, до обеда». Эрвин был единственным человеком в этом доме, который обращался ко мне «леди» так, будто это слово ещё что-то значило. Я подозревала, что он делал это не из вежливости, а из профессиональной привычки: писарь не имеет права обращаться к носительнице печати иначе, иначе его копии не примет столичный архив.

Я открыла тетрадку на чистой странице. Перо лежало рядом, чернильница — тоже. Я обмакнула перо и начала писать медленно, выводя каждую букву так, как меня учила мать, — с нажимом, без росчерков, без капель.

«Домоправителю замка Северного Огня, Торстейну по прозвищу Счетовод. Носительница печати рода, леди Астрид из дома Северного Огня, вдовствующая супруга лорда

Дарвена, требует отчёта о расходовании серебра, внесённого в казну рода в качестве приданого в год заключения брака. Сумма — двадцать шесть фунтов серебра, монета городской чеканки, перечень в реестре кухонных расходов за год свадьбы, страница, скреплённая сургучной печатью. Ответ прошу дать в письменной форме в течение трёх дней, согласно параграфу о праве носительницы печати на отчёт по расходам дома, в коем она содержится по зимнему циклу».

Я перечитала. Строчки вышли ровные, без клякс. Я подписалась внизу — мелко, остро, как ставила когда-то в родовой книге. Тогда подпись была красивая, с завитком. Сейчас — короткая, почти злая. Рука не дрожала. Левая рука — та, что со шрамом — лежала на столе, и под рукавом чужого платья было тепло, и я знала, что он за стеной это чувствует, и что он, наверное, сидит сейчас на своей кровати, и смотрит на свои руки, и не знает, зачем кашлянул.

За стеной раздались шаги. Сначала медленные, потом быстрее. Я услышала, как открылась его дверь — в коридор, не ко мне. Шаги по камню. Удаляются. Тишина.

Я положила перо. Посидела, глядя на собственную подпись. Потом сложила лист, запечатала воском от свечи, поднесла к печке, растопила конец ножа и прижала. Печать вышла кривая — не родовая, просто капля, — но Эрвин разберётся. Я спрячу письмо под половицу завтра, когда пойду к нему. Сегодня — рано. Сегодня пусть Тобин думает, что я просто забрала ключ.

Я встала. Подошла к двери. Приложила ухо. Ни шагов, ни дыхания. Он ушёл. Ушёл куда-то в собственный дом, в котором я теперь жила по праву печати, и от этого знания у меня одновременно ныло под ложечкой и тянуло в груди. Я положила ладонь на дверь. Его дверь — с другой стороны, в коридоре, без моего замка. Моя дверь — здесь, с моим ключом, с моим правом не пускать.

Я отняла руку и вернулась к столу. Положила медный ключ в карман платья. Карман был тесный, и ключ снова впился в бедро, и я подумала, что, наверное, к весне там останется синяк, и что это будет мой первый синяк в этом доме, и что он будет не от побоев, а от собственного документа, и что это, может быть, самая честная цена, которую мне когда-либо приходилось платить.

За стеной снова стало тихо. Тихо так, как бывает тихо в доме, где кто-то один не спит и считает удары собственного сердца, чтобы не думать. Я села на кровать, положила руки на колени, и смотрела на тёмный квадрат окна, за которым не было ещё ни снега, ни рассвета, и ждала, когда он вернётся, и злилась на себя за то, что ждала.

Плащ остался висеть на спинке стула. Я повесила его туда сразу, как вошла, — не в шкаф, не на крюк у двери, а на стул, потому что крюк был его, а шкаф был слишком глубоким, и если бы я убрала плащ туда, потом не смогла бы объяснить, чей он. Так он висел, как чужое обещание, брошенное на мою мебель, и я старалась на него не смотреть, и

смотрела на него чаще, чем на тетрадку.

За стеной скрипнула кровать. Не кашель, не шаги — именно скрип, тяжёлый, неровный, будто человек сел слишком резко и пружины не успели замереть. Потом — тишина. Потом — голос, низкий, хриплый, будто шёл не из горла, а из-под рёбер.

— Ты не спишь.

Это не было вопросом. Это было утверждение, произнесённое в стену, в камень, в ту щель, где штукатурка уже пошла трещиной от зимней сырости. Я замерла. Левую руку — ту, что со шрамом — я держала на столе, и под рукавом чужого платья печать отозвалась сразу, как собака на свист. Тепло пошло вверх по предплечью, в плечо, в шею, и я знала, что он это чувствует — не думала, а знала, потому что в ту первую ночь после совета, когда я вернулась в плаще, шрам ныл у него на руке тоже, и Бринн сказал мне об этом утром, на кухне, пока наливал воду.

— Я не сплю, — ответила я, и собственный голос показался мне слишком ровным, слишком готовым, будто я отрепетировала эту фразу, пока писала письмо домоправителю.

— Каша стынет.

Я посмотрела на миску, которую принёс Бринн. Каша была холодная, жирная, с подгоревшей корочкой по краю. Тарелка была глиняная, с трещиной через всю середину, заклеенной чем-то бурым. Я не тронула её с тех пор, как Бринн поставил на стол, и он это видел, и Дарвен это, скорее все-

го, тоже слышал — как Бринн стучал в дверь, как я сказала «оставь у порога», как Бринн сказал «леди, лорд приказал», и я сказала «лорд может пообедать сам».

Тишина за стеной. Длинная, тяжёлая, как каменная плита. Потом — медленный выдох, почти стон, почти смех, и я не поняла, что именно, и от этого под ложечкой стало горячо.

— Ты злишься, — сказала я. Не спросила. Тоже утверждение, тоже в стену.

Он не ответил. Я подождала. Досчитала до десяти — медленно, про себя, как учила мать считать пульс раненого, чтобы не сорваться. На девятом ударе он кашлянул — снова, в кулак, сухо, и я подумала, что он простудился, пока стоял у окна, пока смотрел, как я выхожу из совета в чужом тесном платье, и что ему следовало бы вызвать Хеллу, и что я не буду об этом напоминать.

— Поешь кашу, — сказал он наконец. Голос сел ниже. — Пожалуйста.

Последнее слово он произнёс так, будто его вытащили из него клещами. Я сжала губы. Шрам под рукавом пульсировал в такт, и я не знала — мой это пульс или его, и не хотела знать, и от этой нежелания мне стало стыдно, и я зло пододвинула к себе миску.

Каша была холодная. Я ела её медленно, глядя на плащ, висящий на стуле, и на ключ, лежащий в кармане, и на письмо, спрятанное под половицей, и думала о том, что он сказал «пожалуйста» в стену, и что я не ответила «спасибо», и что

это, наверное, тоже считается.

Ложка стукнула о край треснувшей тарелки. За стеной — ни звука. Только дыхание, ровное, слишком ровное, и я знала, что он прислушивается к моей ложке, и он знал, что я знаю, и мы оба делали вид, что это не считается, и это тоже считалось.

Я доела. Положила ложку. Миску отодвинула к краю стола, ближе к двери — Бринн заберёт утром. Потом встала, сняла со стула его плащ, подошла к двери, приоткрыла её ровно на ладонь и повесила плащ на крюк в коридоре, прямо напротив его двери. Не на его крюк. На свой. Ткань была ещё тёплая, и пахла дымом, и его кожей, и я отдёрнула руки так, будто обожглась, и закрыла дверь, и повернула ключ, и долго стояла, прижавшись лбом к дереву, и считала удары — свои, его, и где-то между ними — третий, который был ни мой и ни его, а просто камень, через который мы дышали в одну сторону.

Утром я проснулась от того, что под дверью шуршало. Не мышь, не ветер — бумага, которую подсунули так, чтобы край торчал из щели, и я увидела его, ещё не открывая глаз, потому что бумага белела на тёмном полу, как маленький нечестный флаг. Я встала, подняла, развернула. Почерк был не его и не Бринна, а крючковатый, торопливый, с нажимом на «д» и «р», и я узнала его сразу — так пишет домоправитель, когда злится, но не имеет права кричать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.